



**ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА**

**МАРКЕС**

*ОСЕНЬ ПАТРИАРХА*

*Книги, изменившие мир.  
Писатели, объединившие  
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я    К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Габриэль Гарсиа Маркес

**Осень патриарха**

«Издательство АСТ»

1975

УДК 821.134.2-31(861)

ББК 84(7Кол)-44

## **Маркес Г.**

Осень патриарха / Г. Маркес — «Издательство АСТ»,  
1975 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-153063-1

Габриэль Гарсиа Маркес – величайший писатель XX века, лауреат Нобелевской премии, автор всемирно известных романов «Сто лет одиночества», «Любовь во время чумы» и «Осень патриарха». «Мне всегда хотелось написать книгу об абсолютной власти» – так автор определил главную тему своего произведения. Диктатор неназванной латиноамериканской страны находится у власти столько времени, что уже не помнит, как к ней пришел. Он – уже и человек, и оживший миф, и кукловод, и марионетка в руках Рока. Он совершенно одинок в своем огромном дворце, где реальное и нереальное соседствуют самым причудливым образом. Он хочет и боится смерти. Но... есть ли смерть для воплощения легенды?

Возможно, счастлив властитель станет, лишь когда умрет и поймет, что для него «бессчетное время вечности наконец кончилось». В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.134.2-31(861)

ББК 84(7Кол)-44

ISBN 978-5-17-153063-1

© Маркес Г., 1975

© Издательство АСТ, 1975

## Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	35
-----------------------------------	----

# Габриэль Гарсиа Маркес

## Осень патриарха

Gabriel García Márquez

EL OTOÑO DEL PATRIARCA

Печатается с разрешения наследников автора и литературного агентства Agencia Literaria Carmen Balcells, S.A.

© Gabriel García Márquez, and Heirs of Gabriel

García Márquez, 1975

© Перевод. Д. Синицына, 2022

© Издание на русском языке AST Publishers, 2023

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

\*\*\*

В выходные стервятники пробрались на балконы президентского дворца, расклевали проволочные решетки на окнах, разбередили крыльями время, застывшее внутри, и на рассвете в понедельник город очнулся от векового сна, пробужденный теплым мягким ветерком, душком крупного мертвеца и гнилого величия. Только тогда мы и решились войти, не руша облупленных стен из крепкого камня, как настаивали самые решительные, не снося воловьими упряжками главные ворота, как предлагали прочие, потому что стоило разок толкнуть – и они сами подались и вышли из петель, эти крытые броней ворота, которые в героические времена выдерживали натиск орудий Уильяма Дампира<sup>1</sup>. Мы как будто проникли в другую эпоху; воздух в заваленных мусором скважинах просторного оплота власти был тоньше, а безмолвие – старше, и все вещи – едва различимы в дряхлом свете. В первом дворе, где плитняк уступил подземному давлению сорной травы, мы увидели пост охраны, брошенный в беспорядке, в минуту бегства, оружие, оставленное в шкафах, длинный стол из грубых досок с объедками прерванного паникой воскресного обеда; увидели полутемный барак, в котором размещались гражданские конторы, увидели разноцветные грибы и бледные лилии среди недописанных личных дел, имевших обыкновение тянуться медленнее, чем самая скучная из жизней, увидели посреди двора крестильную купель, в которой больше пяти поколений приобщалось к таинству в торжественно-воинской обстановке; в дальнем конце увидели бывшую конюшню вице-королей, преобразованную в гараж и каретный сарай, за камелиями и бабочками увидели карету-берлину времен шума, фургон времен чумы, повозку того года, когда прилетала комета, катафалк эпохи прогресса в рамках порядка, сомнамбулический лимузин первого мирного века – все они под слоем пыльной паутины находились в прекрасном состоянии и были выкрашены в цвета национального флага. В следующем дворе за железной решеткой цвели розовые кусты, присыпанные лунной пылью; в лучшие времена под кустами спали прокаженные, а теперь, в запустении, розы так разрослись, что ни единого закоулочка воздуха не оставалось без аромата, смешанного со зловонием, исходящим из дальнего конца сада, запахом курятника и смрадом навоза и кислой мочи коров и солдат из колониальной базилики, превращенной в хлев. Продравшись сквозь удушливые заросли, мы увидели арочную галерею с гвоздиками в горшках и купами

---

<sup>1</sup> Уильям Дампир (1651–1715) – английский мореплаватель и капер.

альстремерий и бугенвиллей, где располагались комнатухи наложниц, и по многообразию всяческого домашнего мусора и огромному количеству швейных машинок рассудили, что здесь и впрямь могло жить больше тысячи женщин с выводками недоносков; увидели армейский кавардак в кухнях, белье, стухшее на солнцепеке в портомойнях, открытый нужник, один для женщин и солдат, а в глубине – вавилонские ивы, натурально, с собственной почвой, соком и испариной привезенные из Малой Азии по морю в гигантских парниках, и за ивами – сам дворец, огромный и печальный, с дырами в ставнях, куда то и дело залетали стервятники. Нам не пришлось взламывать двери, как мы опасались, – центральный вход распахнулся сам, словно поддавшись одной лишь силе голоса, и мы взошли на второй этаж по каменной лестнице со стертыми от коровьих копыт оперными коврами дорожками и повсюду, от главного вестибюля до личных спален, увидели множество кабинетов и официальных залов в развалинах, где невозмутимо бродили коровы, жевали бархатные портьеры и обкусывали атлас с кресел, увидели героические полотна со святыми и полководцами, валяющиеся на полу среди ломаной мебели и свежих коровьих лепешек, увидели обезображенную коровами столовую, оскверненную и разгромленную коровами музыкальную гостиную, развороченные коровами столики для домино и общипанные коровами луга бильярдных столов, увидели забытую в углу ветряную машину, подражавшую звукам любого румба розы ветров, чтобы обитателей дома не заедала тоска по ушедшему морю, увидели развешанные повсюду птичьи клетки, с прошлой недели укутанные на ночь тряпицами, и увидели из многочисленных окон необъятное сонное животное, город, покуда не ведающий, в какой исторический понедельник он вступает, а за городом, до самого горизонта, увидели мертвые, покрытые шершавым лунным пеплом кратеры на бескрайней равнине, раскинувшейся там, где раньше было море. В этом запретном чертоге, где до сих пор доводилось бывать лишь немногим избранным, мы впервые уловили запах мертвечины, исходящий от стервятников, услышали их тысячелетнюю одышку, доверились их настороженному ясновидению и, идя навстречу порывам гнилого ветра, поднимаемого их крыльями, наткнулись в зале аудиенций на исчервленные коровьи остовы, их женственные огузки многократно отражались в высоких зеркалах, и тогда мы толкнули незаметную дверь в боковой кабинет и там увидели его, в полотняной форме без знаков различия, в крагах, на левой пятке золотая шпора; он был дряхлее самых старых людей и животных, сухопутных и водоплавающих, и лежал на полу лицом вниз, подложив правую руку под голову вместо подушки, в той же позе, в какой спал ночь за ночью, каждую ночь в своей неимоверно длинной жизни одинокого деспота. Только перевернув его, мы сообразили, что все равно не узнали бы его лицо, даже не расклеванное стервятниками, потому что никто из нас никогда этого лица не видел, и хотя знакомый профиль красовался на обеих сторонах монет, на почтовых марках, на этикетках кровоочистительных средств, на бандажах для яиц, раздутых от водянки, и на скапуляриях, а картинка, где он изображался со стягом у груди и драконом, символом родины, мозолила нам глаза повсюду и в любую минуту; мы знали, что это копии портретов, считавшихся неточными уже во времена кометы, и наши родители знали, кто он, потому что слышали про него от своих родителей, а те – от своих, и с детства нас приучили думать, что там, во дворце, он жив, потому что кто-то видел, как загораются праздничные круглые фонари, кто-то рассказывал, мол, я видел грустные глаза, бледные губы, задумчивую руку, помахивавшую неизвестно кому из глубины литургического убранства президентской кареты, потому что однажды в воскресенье, много лет назад, с площади увезли слепого, который за пять сентаво декламировал стихи забытого поэта Рубена Дарио<sup>2</sup> и вернулся он счастливый, с настоящей золотой унцией, столько ему заплатили за чтение стихов специально для него, хотя самого его он, конечно, не видел, не вследствие слепоты, а потому что ни единый смертный

---

<sup>2</sup> Рубен Дарио (Феликс Рубен Гарсиа Сармьенто, 1867–1916) – никарагуанский поэт, крупнейшая фигура испаноамериканского модернизма.



его не видел со времен желтой лихорадки, и все же мы знали, он там, знали, потому что мир продолжался, жизнь шла своим чередом, приходила почта, городской оркестр по субботам играл незатейливые вальсы под пыльными пальмами и чахлыми фонарями на Гербовой площади, и всё новые и новые одряхлевшие музыканты заменяли в оркестре умерших. В последние годы, когда в глубинах дворца совсем перестали слышаться человеческие голоса и пение птиц, а бронированные ворота закрылись навсегда, мы знали, что там все же кто-то есть, потому что по ночам в окнах со стороны моря мерцали огни, напоминающие корабельные, а те, кто осмеливался подойти поближе, слышали за укрепленными стенами отчаянный стук копыт и вздохи крупного животного, и как-то раз под вечер, в январе, мы увидели корову, созерцавшую сумерки с президентского балкона; вы только представьте себе, корова на главном балконе родины, что за безобразие, вот ведь негодная страна, и мы недоумевали, каким образом корова проникла на балкон, всякому же известно, что коровы не умеют подниматься по лестницам, особенно каменным, а уж тем более застеленным коврами дорожками; в конце концов мы запутались – то ли мы в самом деле ее видели, то ли просто проходили однажды по Гербовой площади и на ходу нам пригрезилось, будто мы видим корову на президентском балконе, где вот уже много лет ничего не появлялось до того самого дня и еще много лет не появлялось после, вплоть до самого рассвета пятницы, когда вдруг замаячили первые стервятники, они поднялись оттуда, где вечно дремали, с карниза больницы для бедняков, прилетели из глубины страны, несколько стай явились с горизонта пыльного моря, занявшего место моря настоящего, и целый день медленно кружили над дворцом, пока здоровенный королевский гриф с перьями, словно в невестинном уборе, и красным теменем не отдал молчаливый приказ, и вот стекла брызнули осколками, и повеяло крупным покойником, и стервятники беспрепятственно стали шастать в окна и обратно, как бывает только в заброшенном доме, так что мы тоже отважились зайти и обнаружили в опустелом святилище обломки величия, исклеванное тело, девичьи руки с кольцом власти на окостенелом безымянном и увидели, что по всему его телу проклянулись крохотные лишайники, там и сям кишели глубоководные паразиты, особенно под мышками и в паху, и парусиновый бандаж поддерживал разросшееся от водянки яичко – единственное, чем пренебрегли стервятники, несмотря на то, что размером оно было с воловью почку, – но даже тогда мы не решились поверить в его смерть, потому что один раз его уже так находили, в этом самом кабинете, один-одинешенек, одет и вроде бы умер по естественным причинам, как и предсказывали, увидев это в прозрачных водах своих волшебных плошек, гадалки много лет назад. В первый раз его нашли в начале его осени, когда нация еще была настолько живой, что он ощущал смертельную угрозу даже в уединении собственной спальни и все же правил, будто знал, что ему на роду написано не умирать никогда, а президентский дворец тогда напоминал базар, в коридорах приходилось расталкивать босых ординарцев, сгружавших с ослов корзины с овощами и курами, перешагивать через кумушек, спавших вповалку на лестницах и грезивших о чуде официальной милостыни, и их рахитичных отпрысков, крестников, уворачиваться от потоков грязной воды, которую выплескивали языкастые наложницы, они меняли увядшие за ночь цветы в вазонах на новые, и мыли полы, и пели о несбыточной любви, и в такт выбивали вениками ковры на балконах, а кругом переругивались пожизненно нанятые чиновники, в ящиках столов им то и дело попадались всклокоченные несушки, и из нужников и в нужники сновали шлюхи и солдаты, и галдели птицы, и в конторах дрались бродячие собаки, и никто не знал, кто есть кто и кому кем приходится в этом распахнутом на все четыре стороны дворце, где царил такой чудовищный беспорядок, что понять, кто тут правит, было невозможно. Хозяин дома не только участвовал во всем этом ярмарочном угаре, но и подстегивал его, и руководил им: как только загорался свет в его спальне, задолго до петухов, президентская охрана трубила побудку и возвещала о новом дне ближней военной части Конде, а та повторяла зорьку для базы Сан-Херонимо, база трубила для крепости в порту,

а уж крепость трубила шесть раз подряд, пробуждая сперва город, а потом и всю страну, покуда он размышлял, сидя на переносном нужнике, пытался унять нарастающий шум в ушах, прижимал их ладонями и за окном видел огни судов на глади изменчивого топазового моря, которое в те славные времена еще было на месте. Каждый день с самого вселения во дворец он следил за утренней дойкой и лично отмерял количество молока, которое трем президентским повозкам предстояло развезти по городским казармам, выпивал в кухне кружку черного кофе с лепешкой из маниоки, не представляя, куда занесут его капризные ветра нового дня, и внимательно прислушивался к болтовне прислуги, потому что во всем дворце только с этими людьми и говорил на одном языке, их искреннюю лесть больше всего ценил, их сердца лучше всего разгадывал, а незадолго до девяти неспешно погружался в гранитную купель под сенью миндальных деревьев в своем личном дворике, наполненную отваром целебных листьев, и лишь после одиннадцати чувствовал, что справился с тревогами утра и готов взглянуть в лицо взбалмошной действительности. Раньше, во времена высадки морпехов и оккупации, он запирался в кабинете решать судьбу родины вместе с командиром десанта и ставил под всевозможными законами и указами отпечаток большого пальца, поскольку не умел тогда читать и писать, но, когда его вновь оставили один на один с родиной и властью, перестал морочить себе голову писаными законами и управлял вживую, твердым голосом и твердой рукой, всегда и везде, с каменной сдержанностью, но и с немыслимым для его возраста усердием, осаждаемый толпами прокаженных, слепцов и паралитиков, чаявших получить из его рук целительную соль, а также крючкотворами-политиканами и бесстрастными льстецами, которые объявляли его исправителем землетрясений, затмений, високосных лет и прочих божьих недоделок, а он бродил по всему дому, подволакивая огромные ножищи, будто слон в снегу, и разрешал государственные вопросы и домашние дела одинаково простыми фразами вроде вон ту дверь отсюда снимите, а туда навесьте, снимали, а теперь навесьте обратно, навешивали, и часы на башне пусть бьют двенадцать не в двенадцать, а в два, чтобы жизнь дольше казалась, исполняли; ни единой секунды промедления, никакой паузы, разве что в смертельный час сиесты, когда он уходил в сумрачные владения наложниц, выбирал одну и на скакивал, не раздевая, не раздеваясь, не затворяя дверей, и по всему дому раздавалось тогда бесчувственное пыхтение мужика, которому приспичило, нетерпеливое звяканье золотой шпоры, повизгивание разохотившегося кобеля, испуганный голос женщины, не способной сосредоточиться на мимолетном мгновении любви под хмурыми взглядами своих недоносков, ее выкрики: пошли прочь отсюда, марш во двор играть, нечего детям на такое смотреть, и в эту минуту словно ангел пролетал по небу отчизны, голоса умолкали, жизнь замирала, все застывали, приложив палец к губам, не дыша, тихо, генерал сношается, но те, кто лучше всех его знал, не слишком верили в передышку даже в эту священную минуту, ведь он, казалось, обладал способностью раздваиваться, в семь часов вечера его видели за партией в домино и одновременно поджигающим коровьи лепешки для отпугивания moskitov в зале аудиенций, и никто не питал иллюзий, покуда не гасли последние огни в окнах и не раздавался грохот трех замков, трех засовов, трех щеколд в президентской спальне и звук утомленного тела, валившегося на каменный пол, дыхание дряхлого ребенка становилось все глубже по мере того, как поднимался прилив, и наконец арфы ночного ветра заглушали цикад, терзавших его барабанные перепонки, и широкая пенистая волна затапливала улицы затхлого города вице-королей и буканьеров<sup>3</sup> и врывалась в окна дворца, словно неудержимая августовская суббота, и зеркала обрастали ракушками, и зал аудиенцией отдавался на милость безумствам акул, а волна преодолевала самые высокие уровни доисторических океанов, заливая весь лик земной, пространство и время, и только он один дрейфовал лицом вниз в лунной воде своих снов одинокого утопленника, в полотняной форме рядового, в крагах, в золотой шпоре, подложив

<sup>3</sup> *Буканьеры* – пираты, нападавшие на испанские суда в Карибском море в XVII веке.



правую руку под голову вместо подушки. В тернистые годы, предшествовавшие его первой кончине, это умение быть всюду одновременно, умение подниматься, спускаясь, умение упиваться морем, агонизируя в миг неумелой любви, объяснялось не природным даром, в который верили почитатели, и не коллективными галлюцинациями, на которые ссылались критиканы, а великой удачей – круглосуточной службой и беззаветной преданностью Патрисио Арагонеса, идеального двойника, найденного по чистой случайности, когда никто и не искал, просто к генералу пришли с известием, мол, фальшивая президентская карета разъезжает по индейским селениям, мол, афера с подлогом вполне удалась, мол, они видели безмолвные печальные глаза в траурном сумраке, видели бледные губы, девичью нервную руку в атласной перчатке, разбрасывающую горсти соли над головами коленопреклоненных страждущих бедолаг на улицах, а позади кареты ехали верхом два фальшивых офицера и собирали звонкую монету в обмен на исцеление, вы только представьте, господин генерал, какое святотатство, но он никак не наказал самозванца, а велел тайно доставить во дворец с сизалевым мешком на голове, чтобы их не перепутали раньше времени, и тогда-то пережил унижение лицемерия самого себя, оказаться равным кому-то, вот же ж на хрен, да он – это я, и так оно и было, разве что властному голосу оригинала двойник так и не смог выучиться, зато линии руки были отчетливее, и линию жизни ничто не прерывало до самого основания большого пальца, и если он не приказал расстрелять двойника на месте, то не из-за намерения сделать его официальным заместителем – до этого он не сразу додумался, – а из-за щемящего чувства, будто на ладони самозванца начертана его собственная судьба. К тому времени, как он разуверился в этой соблазнительной догадке, Патрисио Арагонес успешно пережил шесть покушений, приобрел привычку волочить ноги вследствие вызванного ударами кувалды плоскостопия, и в ушах у него шумело, стылыми зимними утрами ныло разбухшее яичко, он научился теребить золотую шпору с якобы спутанными ремешками, просто чтобы убивать время на аудиенциях, и бормотать: черт бы подрал этих фламандских шорников, даже пряжку как следует сделать не могут, и из шутника и балагура, каким был, когда работал в стеклодувной мастерской своего отца, превратился в человека задумчивого и угрюмого, и не слушал, что ему говорят, а всматривался во мрак глаз собеседника, пытаясь догадаться, о чем умалчивают, и ни на один вопрос не отвечал, не спросив сперва, а что вы сами думаете по этому поводу, и перестал быть лодырем и прожигателем жизни, каковым слыл во времена торговли чудесами, и стал усердным до оскомины, неутомимым ходоком, жадным и вороватым, смирился с необходимостью любить наскоком и спать на полу, в одежде, лицом вниз, без подушки, и отказался от самонадеянных претензий на собственную личность, а также наследственного призвания к легкомысленному ремеслу выдувания бутылок из стекла, и возложил на себя опаснейшие обязанности власти, и первые камни закладывал туда, куда не суждено было лечь вторым, и перерезал ленточки на вражеских территориях, и претерпевал бесчисленные недоваренные мечтания, бессчетные сдавленные вздохи о несбыточном, когда, почти не касаясь волос, надевал короны на головы бесконечно одинаковых, неосязаемых и недоступных королей красоты, потому что раз и навсегда принял безликую участь – жить чужой судьбой, и поступил так не из алчности и не из убеждения, а просто сменил свою жизнь на пожизненную должность официального самозванца, за которую причиталось пятьдесят песо месячного жалованья и королевская жизнь без досадной нужды быть королем, чего еще и желать. Смещение двух личностей достигло предела однажды вечером, когда дули протяжные ветра и он застал Патрисио Арагонеса у окна, тот созерцал море, тяжело вздыхая в душном аромате кустов жасмина, и он не на шутку встревожился и спросил, уж не подсыпали ли ему в еду аконитовой отравы, а то вид у него больно отсутствующий и какой-то скучный, а Патрисио Арагонес ответил: нет, господин генерал, гораздо хуже, в субботу он короновал очередную королеву карнавала и танцевал с ней первый вальс и теперь не может найти выхода из этого воспоминания, ибо ему повстречалась самая прекрасная женщина на свете, из тех, что не про

мою честь, господин генерал, вы бы ее видели, а он со вздохом облегчения ответил, да хрен ли тут думать, такое со всяким случается, которому бабы недостает, и предложил похитить ее, как сам не раз похищал строптивых красоток себе в наложницы, разложу ее тебе на койке, четверых армейцев поставим за руки за ноги держать, и знай себе угощайся, хрен ли, хлебай полной ложкой, пока не рыпается, даже недотроги поначалу бесятся и морду воротят, а потом умоляют: не оставляйте меня так, господин генерал, как надкушенную сливу, но Патрисио Арагонесу этого показалось мало, он хотел, чтобы его любили, она ведь из тех, кто знает, что к чему, сами поймете, когда ее увидите, поэтому он подсказал ему формулу утешения, ночные пути к комнатам наложниц, и разрешил пользоваться ими, но только на генеральский манер, наскоком, в спешке, не раздеваясь, и Патрисио Арагонес охотно увяз в трясине этой любви взаимной, полагая, что так усмирят свои порывы, но томление его было так велико, что подчас он забывал про условия сделки и в забыты заходил дальше, чем следовало, прокалывался на мелочах, спотыкался о подводные камни самых коварных наложниц, срывал вздохи с их губ, смех в темноте: какой вы проказник, господин генерал, видать, аппетиту нагуляли к старости, и с тех пор ни один и ни одна из них не знали, где чей ребенок, кто от кого, потому что дети Патрисио Арагонеса тоже выпрыгивали на свет семимесячными недоносками. Вот как вышло, что Патрисио Арагонес стал главным человеком во власти, его больше всего любили, но и больше всего боялись, а у него пока высвободилось время, чтобы основательно, как в начале срока, заняться вооруженными силами, не потому что на вооруженных силах зиждилось его могущество, как все мы думали, а потому что они были его злейшим врагом, так что одним офицерам он внушал мысль, будто другие офицеры за ними следят, то и дело перетасовывал людей, чтобы не успевали вступать в сговоры, отправлял в части по восемь холостых патронов на каждые десять боевых и порох, перемешанный с морским песком, а у себя под рукой держал качественные боеприпасы, устроил склад прямо в президентском дворце и ключи от него носил на кольце вместе с прочими ключами без копий от других дверей, куда никому, кроме него, ходу не было, под покровом успокоительной тени моего кума, всю жизнь дружим, генерала Родриго де Агилара, выпускника артиллерийской академии, министра обороны, начальника президентской охраны, главы всех служб государственной безопасности и одного из немногих смертных, которым позволялось выигрывать у него в домино, ведь он потерял правую руку, обезвреживая динамитный заряд там, где минуту спустя должна была проехать президентская карета, и предотвратил покушение. Под защитой генерала Родриго де Агилара и при помощи Патрисио Арагонеса он обрел такую уверенность, что перестал прислушиваться к предчувствиям, становился все более видимым и отважился выехать в город в сопровождении одного только адъютанта, в ничем не примечательном экипаже, и смотрел из-за занавесок на горделивый собор золотистого камня, признанный, согласно правительственному декрету, красивейшим в мире, выхватывал взглядом старинные каменные особняки, под арками которых дремало время и подсолнухи тянули головки к морю, булыжные, пахнущие жженым улицы в квартале вице-королей, бледных сеньорит, которые с неизменным достоинством плели кружева на солнечных балконах, под купами бугенвиллей, среди горшков с гвоздиками, монастырь францисканок с плитами, уложенными в шахматном порядке, и окнами, откуда в три часа пополудни доносились те же упражнения на клавиатуре, что и в день первого прилета кометы; проехал сквозь вавилонское столпотворение рынка с его смертоносной музыкой, простынями лотерейных билетов, лотками с соком сахарного тростника, связками яиц игуаны, выцветшими под солнцем безделушками торговцев-турок, жуткой афишей, сулившей встречу с женщиной, превращенной в скорпиона за то, что ослушалась родителей, нищим переулком, где жили – женщины без мужчин, которые на закате выходили голыми покупать синих корвин и розовых пагров<sup>4</sup> и браниться с зеленщицами, покуда их одежда сохла на резных

<sup>4</sup> *Корвина, пагр* – крупные морские рыбы.

деревянных балконах; ощутил в ветре дух гнилых моллюсков, предугадал сияние пеликаньих крыльев за углом, разноцветный кавардак негритянских халуп на холмах над бухтой, и вдруг порт, вон он, ах, порт, дощатые причалы, старый броненосец морской пехоты, длиннее и мрачнее, чем настоящий, чернокожая докерша, которая едва успела увернуться от боязливо подкравшегося экипажа и увидела, словно осененная самой смертью, сумрачного старца, устремившего на порт самый печальный взгляд в мире; это он, испуганно воскликнула она, да здравствует наш мужик, вскричала она, да здравствует, кричали мужчины, женщины и дети, они выбегали из кабаков и китайских закусовых, да здравствует, кричали они и кидались прямо под копыта, не давали экипажу проехать, желая во что бы то ни стало прикоснуться к власти, да так ловко и неожиданно, что он едва успел отвести руку адъютанта с револьвером и напряженным голосом отчитал его: не дурите, лейтенант, не мешайте людям меня любить, и так он воодушевился этим всплеском любви и другими подобными в следующие дни, что генералу Родриго де Агилару стоило больших трудов отговорить его от прогулок в открытой карете, чтобы все патриоты родины видели меня в полный рост, хрен ли, ведь он даже не подозревал, что только первый раз в порту вышел случайным, а остальные были подстроены службой безопасности, чтобы, не рискуя, угодить ему, так приехавшему накануне своей осени к народной любви, что впервые за много лет он решился выехать из города, вновь поставил на колеса старый поезд, выкрашенный в цвета национального флага, умевший взбираться на крутые склоны его обширного скорбного края, продираться сквозь заросли амазонских орхидей и бальзаминов, тревожа обезьян, райских птиц, пум, спящих на рельсах, и добравшийся до ледяных пустынных селений его родного плоскогорья, где на станциях его встречали похоронные оркестры, колокола трезвонили, как по покойнику, люди выносили приветственные полотнища, на которых безымянный патриций сидел одесную Святой Троицы, нанимали заплутавших местных индейцев, чтобы выходили к поезду припасть к власти, скрытой в траурном полумраке президентского вагона, но те, кому удавалось приблизиться чуть ли не вплотную, видели изумленные глаза за пыльными стеклами, видели дрожащие губы, безродную руку, помахивавшую из глубин райского лимба, пока кто-то из охраны пытался отвести его от окна, осторожнее, генерал, вы нужны родине, а он отвечал, грезя: не волнуйся, полковник, этот народ меня любит, все равно – путешествовал ли поездом по плоскогорью или плыл на речном колесном пароходе, за которым тянулся шлейф вальсов, исполняемых пианолой, и мешался со сладким ароматом гардений и разлагающихся в экваториальных притоках саламандр, пароход лавировал между скелетами доисторических драконов, спасительными островами, куда выползали рожать сирены, злосчастными закатами над огромными сгинувшими городами и доплывал до раскаленных жалких деревушек, обитатели которых выходили на берег поглазеть на деревянный пароход, раскрашенный в цвета национального флага, и едва различали ничейную руку в атласной перчатке, выпростанную из президентской каюты, но он-то хорошо видел стайки людей на берегу; люди, за неимением знамен, размахивали листьями маланги<sup>5</sup>, бросались в воду с живым стреноженным тапиром на плечах, с гигантским, будто слоновья нога, клубнем ямса, корзиной куропаток для президентского санчоcho<sup>6</sup>, и он растроганно вздыхал в храмовом полумраке каюты, вы гляньте, как сбегаются, капитан, гляньте, как меня любят. В декабре, когда весь мир, лежащий вокруг Карибского моря, становился стеклянным, он в коляске доезжал по кромкам скал до дома, притулившегося на вершине утеса, и до вечера играл в домино с бывшими диктаторами других стран континента, смещенными отцами других наций, он много лет предоставлял им убежище, и они старели в тени его милости, дремали, сидя на террасе, и видели во сне

<sup>5</sup> Маланга – тропический корнеплод, широко использующийся в латиноамериканской кулинарии.

<sup>6</sup> Санчоcho – густая похлебка из разных видов мяса или рыбы, корнеплодов и овощей; колумбийское национальное блюдо (различные вариации распространены также в других странах Латинской Америки).

призрачный корабль второго шанса, говорили сами с собой и, живые мертвецы, в конце концов умирали в доме отдыха, который он выстроил им на площадке над морем, и всех их он принимал одинаково, все, как один, являлись среди ночи в парадной форме, кое-как натянутой поверх пижамы, с сундуком денег, награбленных из государственной казны, с чемоданом, а в чемодане – шкатулка с наградами, с газетными вырезками, вклеенными в старые бухгалтерские книги, и фотоальбомом, который они показывали ему во время первой аудиенции, словно верительные грамоты, и приговаривали: взгляните, генерал, это когда я был лейтенантом, а это в день вступления в должность, а вот шестнадцатая годовщина прихода к власти, полюбуйте, генерал, но он предоставлял им политическое убежище, не вникая в слова и не проверяя бумаг, потому как единственным удостоверением личности свергнутого президента, говорил он, должно быть свидетельство о смерти, и презрительно слушал наивный лепет, мол, я воспользуюсь вашим благородным гостеприимством лишь ненадолго, пока народное правосудие не призовет узурпатора к ответу – неизменная формулировка ребяческого самомнения, которую вскоре произносил уже узурпатор, а потом – узурпатор узурпатора, будто они, полудурки, не знают, что это дело для настоящих мужиков, тут кто упал, тот пропал, и всех он поначалу селил в президентском дворце, заставлял играть с ним в домино, пока не обирал до нитки, и тогда он взял меня под локоть и подвел к окну с видом на море, и помог выплакаться над этой долбаной жизнью, которая всегда движется только в одну сторону, и утешил меня, предложил, езжайте-ка туда, и указал на огромный дом, будто трансатлантический лайнер, застрявший на вершине утеса, у меня для вас там апартаменты, очень светлые, и кормят там отлично, и времени предостаточно, чтобы забыться в компании товарищей по несчастью, и терраса с видом на море, где он любил сидеть декабрьскими вечерами, не столько ради домино с этим сборищем пентюхов, сколько ради сладостного и злорадного осознания, что он – не один из них, ради того, чтобы увидеть себя в назидательном зеркале их жалкого падения, пока сам он барахтался в безграничной трясине счастья, грезил наяву, подкрадывался на цыпочках, словно тать, к тихим мулаткам, метущим президентский дворец в занимающемся рассвете, находил их по запаху общей спальни и аптечного бриллиантина, дожидался удобного случая, подлавливал одну и одаривал своей петушиной любовью за дверями конторы, а они хихикали во мраке: какой вы хулиган, господин генерал, ненасытный, даром что в летах, но он после любви печалился и, чтобы утешиться, затягивал песни там, где никто не слышал, о, светозарный январский месяц<sup>7</sup>, пел он, подари меня, горемычного, взглядом, муки терплю у тебя под окном, пел он и так был уверен в любви своего народа безмятежными октябрьскими деньками, что вешал гамак во дворе особняка в предместье, где жила его мать Бендисьон Альварадо, и совершал сиесту в тени тамариндов, без охраны, и снились ему рыбы, плавающие бесцельно в разноцветных водах спален, родина – лучшая на свете выдумка, мама, вздыхал он, не ожидая, что единственный человек, осмеливавшийся ругать его за прогорклый луковый смрад из-под мышек, ответит, и возвращался в президентский дворец через парадный вход, взбудораженный чудом карибского января, примирением с миром, наступившим в разгар старости, сиреневыми вечерами, когда он снова сдружился с апостольским нунцием<sup>8</sup> и тот приходил во дворец без аудиенции, пытаясь обратить его в веру Христову за горячим шоколадом с печеньем, а он приводил издевательские доводы, мол, если Бог, по-вашему, такой молодчага, скажите ему, пусть вынет у меня из уха жука, который там жужжит, и расстегивал девять пуговиц на ширинке и вываливал исполинское яичко, передайте ему, пусть сдует этот шарик, но нунций стоически держался своей пастырской миссии и убеждал, что любая истина, кто бы ее ни произносил, исходит от Духа Святого, а он провожал его до дверей в сгущающихся сумерках,

<sup>7</sup> *О, светозарный январский месяц...* – популярная баллада, исполнявшаяся венесуэльским певцом Альфредо Саделем.

<sup>8</sup> *Апостольский нунций* – дипломатический представитель папы римского в какой-либо стране, то есть фактически посол Ватикана.

довольный, каким редко его видели, да не усердствуйте вы так уж, падре, говорил он, что вам толку меня обращать, я же и так все делаю по-вашему, хрен ли. Эта заводь покоя разом пересохла, когда на петушиных боях в далеких горах некий кровожадный петух оторвал противнику голову и склевал на глазах у обезумевшей публики, пока пьяный оркестр бойко наярывал в честь этого ужаса, он единственный тогда уловил дурное предзнаменование, столь четкое и неотвратимое, что велел тайно арестовать музыканта, да, вон того, трубача, и у него действительно нашли обрез, и под пыткой он признался, что намеревался выстрелить в него в суматохе, когда все будут выходить, конечно, это же яснее ясного, сказал он, я на всех смотрел, все смотрели на меня, а этот козел с трубой единственный не осмелился ни разу глянуть, бедолага, и все же он знал, что не в этом корень его тревоги, потому что по-прежнему чувствовал ее ночами в президентском дворце, даже когда служба безопасности отчиталась, мол, поводов для беспокойства нет, господин генерал, все в порядке, но он не отходил от Патрисио Арагонеса, будто боялся оказаться не в себе с того самого зловещего случая на петушиных боях, давал ему пробовать свою еду, кормил пчелиным медом со своей ложки, чтоб хоть вместе помереть, если вдруг отравы, и, словно беглецы, они бродили по забытым pokojам, ступая по коврам, чтобы никто не узнал их осторожной, тяжелой, будто у сиамских слонов, поступи, вместе плавали в зеленом мигании маяка, каждые тридцать секунд прорывавшемся в окна и затапливавшим комнаты поверх дыма от коровьих лепешек и траурных гудков ночных кораблей в сонных морях, вечера напролет смотрели на дождь, а неспешными сентябрьскими закатами считали ласточек, словно престарелые любовники, в таком удалении от мира, что он поначалу не заметил: из-за отчаянного желания существовать вдвойне он будто бы, напротив, существует все меньше, он будто бы погружен в летаргический сон, а охрану усилили, и все входы и выходы президентского дворца перекрыты, но кто-то все же просочился внутрь и увидел безмолвных птиц в клетках, коров, пьющих из крестильной купели, прокаженных и паралитиков, спящих под розовыми кустами, и все в полдень словно бы ждали рассвета, потому что он, как и предсказывали гадалки, умер от естественных причин во сне, но высшие чины не обнародовали новость, спеша в кровавых стычках свести друг с другом застарелые счеты. До него эти слухи не доходили, но он осознавал, что в его жизни вот-вот, со дня на день, что-то должно произойти, прерывал медленные партии в домино и справлялся у генерала Родриго де Агилара, а что, кум, как наши дела, все под контролем, господин генерал, родина пребывала в спокойствии, он пытался уловить знаки будущего в траурных кострах из коровьих лепешек, горящих вдоль коридоров, и в старых колодцах и не находил никакого ответа на свою тревогу, навещал, когда спадала жара, свою мать Бендисьон Альварадо в ее особняке в сонном предместье, они усаживались под тамариндами подышать вечерней прохладой, она, одряхлевшая, но не утратившая за долгие годы ни малой крупинцы души, сидела в материнском кресле-качалке и бросала горсти кукурузы расхаживающим по двору курам и павлинам, а он в плетеном белом кресле обмахивался шляпой и следил долгим голодным взглядом за дородными мулатками, которые подносили ему разные фруктовые воды, попейте, а то жара, господин генерал, и думал; мать моя Бендисьон Альварадо, если б ты знала, что не могу я больше в этом мире, хочу удрать куда угодно, мама, подальше от всей этой подлости, но даже матери он не раскрывал сути своих вздохов и с первыми вечерними огнями возвращался в президентский дворец, входил через черный ход и слышал, как в коридорах стучат каблуками караульные; откозыряв, они сообщали, ничего нового, господин генерал, все в порядке, но он знал, что это не так, что его обманывают по привычке, лгут из страха и что нет места правде в облаке неопределенности, которое нависало над ним и отравляло радость жизни и лишало даже извечной охоты командовать с того пагубного вечера на петушиных боях, и он допоздна лежал на полу лицом вниз, не смыкая глаз, и слышал за окном, открытым в сторону моря, далекие барабаны и грустные волынки на чьей-то свадьбе, отмечаемой так же шумно, как отмечали бы его смерть, слышал гудок самовольного судна,

отплывшего в два часа без приказа капитана, услышал бумажный треск скал, разверзшихся на заре; он исходил ледяным потом, постанывал, сам того не замечая, не имея ни минуты покоя и улавливая чутьем дикого зверя неотвратимость того вечера, когда он возвращался из особняка в предместье, и его окружили толпы на улице, окна распахивались и захлопывались, ласточки металась в прозрачном декабрьском небе, и он отодвинул занавеску в карете и посмотрел и сказал себе, так вот оно что, мама, вот оно что, сказал он себе с ужасающим чувством облегчения, увидев в небе цветные шары, шары красные и зеленые, и желтые, словно огромные голубые апельсины, бесчисленные блуждающие шары, они пробили себе путь сквозь стаи обезумевших ласточек и застыли на миг, паря в хрустальном свете четырех пополудни, и вдруг лопнули тихо и единодушно, будто бы взорвались, и засыпали город тысячами и тысячами бумажек; кучер воспользовался ураганом листовок и улизнул через многолюдный рынок, прежде чем люди узнали карету власти, потому что все подбирали листовки, господин генерал, выкрикивали написанное с балконов, твердили наизусть, покончим с гнетом, кричали они, смерть тирану, и даже караульные в коридорах президентского дворца читали вслух, все классы должны объединиться в борьбе против векового деспотизма, призываем к примирению всех патриотов ради истребления коррупции и военщины, довольно крови, кричали они, хватит нас грабить; вся страна просыпалась от тысячелетнего морока, когда они въехали в каретный сарай и он узнал страшную весть, господин генерал, Патрисио Арагонеса смертельно ранили отравленным дротиком. Много лет назад, как-то вечером, пребывая в скверном расположении, он предложил Патрисио Арагонесу подкинуть монету и разыграть собственную жизнь, выпадет орел – умрешь ты, решка – умру я, на что Патрисио Арагонес возразил, мол, дело все равно закончится ничьей и умрут оба, потому как на обеих сторонах всех монет изображено их общее лицо, и тогда он предложил решить вопрос за столиком с домино, кто выиграет больше партий из двадцати, и Патрисио Арагонес вызов с честью и радостью принял, господин генерал, при условии, что вы мне разрешите выигрывать, и он согласился, и они сыграли партию, две, двадцать, и каждый раз побеждал Патрисио Арагонес, ведь сам он раньше выигрывал исключительно потому, что побеждать его было запрещено; это было долгое ожесточенное сражение, и они добрались до последней партии, а он так ни разу и не выиграл, и Патрисио Арагонес утер пот рукавом рубашки, вздохнул и сказал, простите великодушно, господин генерал, но я не хочу умирать, и тогда он стал собирать костяшки, аккуратно укладывать в деревянную коробочку, приговаривая хорошо поставленным, как у школьного учителя, голосом, что ему тоже не судьба умереть за столиком для домино, ему предстоит умереть в свое время в своем месте от естественных причин во сне, как и предсказывали гадалки по воде в своих плошках, а если вдуматься, то даже и не так, ведь Бендисьон Альварадо меня не затем родила, чтобы слушаться каких-то там плошек, а затем, чтобы командовать, и в конце-то концов, я – это я, а не ты, так что благодари Бога, что мы с тобой просто играем, сказал он со смехом, не представляя тогда – да и вообще никогда, – что эта ужасная шутка перестанет быть шуткой однажды вечером, когда он вошел в комнату к Патрисио Арагонесу, где тот схватился врукопашную со смертью, но тщетно, без единого шанса выжить после убойной дозы яда, и он воздел руку и поприветствовал его с порога, храни тебя Господь, мужик, великая честь – умереть за родину. Он оставался с ним во все время медленной агонии, двое мужчин наедине, и генерал лично подносил ему ложку с болеутоляющим, а Патрисио Арагонес глотал не благодаря и после каждой ложки твердил: ненадолго я вас покидаю в вашем говенном мире, господин генерал, сердце мне подсказывает, что очень скоро мы с вами свидимся в глубоком пекле, я – скукоженный от яда, словно пережаренная кефаль, а вы будете собственную голову в руке держать, ища, куда бы ее пристроить, говорю вам безо всякого уважения, господин генерал, теперь-то уж я могу сказать, я никогда вас не любил, что бы вы там себе ни выдумывали, с тех заскорузлых времен, когда я на свою беду попался вам на глаза, только и молюсь, чтобы вас убили, пусть бы даже и не мучительной смертью, только



чтоб вы заплатили за мою сиротскую жизнь, вспомните, сперва мне колотушками попортили ноги, чтобы шаг стал сонным, как у вас, потом сапожным шилом проткнули яйца, чтобы водянка надулась, а потом опоили меня скипидаром, чтобы я разучился читать и писать, а ведь сколько трудов моя мать положила на мое учение, и заставили меня выступать, где вам самому слабо, не потому что вы якобы нужны родине, а потому что и самый крепкозастылый со страху обделается, пока будет нацеплять корону на какую-нибудь шлюху с конкурса красоты, не зная, откуда пуля прилетит, безо всякого уважения говорю вам, господин генерал; но его огорчала не дерзость Патрисио Арагонеса, а неблагодарность человека, которого я, как короля, поселил во дворце, и такое тебе дал, чего никто никому на свете не давал, даже баб своих тебе одалживал, хотя вот об этом не будем, господин генерал, лучше бы мне кувалдой яйца сплющили, чем заваливать на пол мамаш, все равно как когда телок клеймят, только ведь жалкие потаскушки бессердечные не чувствуют каленого железа, ногами не сучат, не извиваются, не стонут, как те телки, и крупы у них не дымятся, и жженым мясом они не пахнут, а ведь такого только и ждешь от порядочной бабы, нет, замрут, как дохлая говядина, пока ты пупок надрываешь, или картошку чистят, не отвлекаясь от дела, и орут своей товарке, мол, сделай милость, присмотри за плитой, пока я тут освобожусь, а то как бы рис не пригорел, только вам могло взбрести в голову, будто эта пакость – и есть любовь, господин генерал, потому что вы другой любви не знали, говорю вам безо всякого уважения; и тогда он взревел, молчать, на хрен, закрой пасть или пожалеешь, но Патрисио Арагонес продолжал, и в мыслях не имея над ним насмехаться, да чего мне молчать, ну, убьете вы меня, ну и так уже убиваете, лучше воспользуйтесь случаем, взгляните правде в глаза, господин генерал, с вами ведь никто никогда не откровенничал о том, что на самом деле думает, а все говорят только то, что вы хотите услышать, поклоны вам кладут, а за спиной ножи точат, так что будьте благодарны, я вас, как никто, жалею, потому что я один в целом свете на вас похож и я один смею сказать вам то, что все говорят: никакой вы не президент и на троне сидите не из-за пушек своих, а потому что англичане посадили, а потом гринго подсобили своим гребаным броненосцем, я же видел, как вы тут метались во все стороны, со страху не знали, как начать править, когда гринго ручкой сделали, сиди, мол, дальше в своем негритянском бардаке, посмотрим, как у тебя без нас-то получится, и если вы тогда с трона не слезли и до сих пор на нем сидите, то не потому что не желали, а потому что не могли, признайте, вы же понимаете, стоит вам показаться на улице, как простому смертному, на вас тут же накинутся, словно псы, мстить станут за резню в Санта-Мария-дель-Алтар, за заключенных, которых сбрасывают во рвы портовой крепости на съедение кайманам, и за тех, с кого живьем кожу снимают и шлют родичам в назидание, говорил и говорил он, вытаскивая из бездонного колодца застарелых обид все новые и новые жестокие средства, которыми пользовался его позорный режим, говорил, пока огненные грабли не разворошили ему внутренности, и тогда сердце его смягчилось, и он не грубо, а почти умоляюще сказал: я ведь серьезно, господин генерал, решайтесь, пока я умираю, умрите со мной за компанию, я, как никто, имею право так говорить, потому что я никогда не хотел быть ни на кого похожим, а уж тем более быть отцом нации, нет, я хотел быть скромным стеклодувом, бутылки делать, как мой отец, решайтесь, это не так больно, как кажется, и произнес он это с такой кристальной уверенностью, что у него не достало ярости ответить, он просто схватил его, сидящего на стуле, и держал, когда тот начал корчиться и хвататься за живот и плакать от боли и стыда, вот ведь черт, господин генерал, сейчас обделаюсь, а он подумал, это в переносном смысле, мол, помирает со страху, но Патрисио Арагонес сказал, нет, вправду сейчас обделаюсь, господин генерал, и он стал его умолять: терпи, Патрисио Арагонес, держись, нам, генералам отчизны, подобает умирать как мужчинам, даже ценой собственной жизни, но было поздно, Патрисио Арагонес рухнул, повалился прямо на него, суча нога ми со страху, истекая дерьмом и слезами. В кабинете рядом с залом аудиенций он намыленной мочалкой оттер с труп дурной запах смерти, обрядил его в снятое с себя, надел

парусиновый бандаж, краги, золотую шпору на левую пятку и, занимаясь этим, чувствовал, что постепенно превращается в самого одинокого человека на свете, и наконец уничтожил все следы подлога и с величайшей точностью изобразил мельчайшие подробности, которые видел своими глазами в плосках гадалок, чтобы на следующий день на рассвете дворцовые подметальщицы обнаружили тело, и они в самом деле обнаружили, он лежал лицом вниз на полу кабинета, впервые умерев фальшивой естественной смертью во сне, в полотняной форме без знаков различия, в крагах, с золотой шпорой, подложив правую руку под голову вместо подушки. В тот раз, вопреки его ожиданиям, весть тоже распространилась не сразу, много осторожных часов утекло за тайным выяснением обстоятельств, за тихими сделками между наследниками режима, которые старались выиграть время, опровергая слух о кончине разнообразными противоречивыми версиями, на торговую улицу вывели его мать Бендисьон Альварадо, чтобы мы убедились, что она не в трауре, раздели меня в платье с цветами, как куклу карнавальную, сеньор, заставили купить попугайскую шляпу, чтобы все видели, что я довольна и счастлива, провели меня по всем магазинам, хоть я и отнекивалась, не время сейчас для покупок, время плакать, я ведь и вправду думала, это мой сын умер, и заставляли меня улыбаться и фотографировали в полный рост; военные говорили, это ради родины, пока он у себя в тайнике, сбитый с толку, задавался вопросом, что же случилось с миром, почему байка о его смерти ничего не изменила, как могло выйти и зайти, ничуть не запнувшись, солнце, откуда этот воскресный ветерок, мама, отчего без меня по-прежнему жарко, размышлял он изумленно, когда ни с того ни с сего раздался пушечный залп из крепости в порту, и забили колокола, и к президентскому дворцу потянулись бесчисленные толпы, величайшая новость в мире стряхнула с них вековую снулость, и тогда он приоткрыл дверь спальни, и выплянул в зал аудиенций, и увидел самого себя в гробу, мертвее и наряднее любого мертвого папы римского, и его ужаснул позорный вид: труп казарменного мужика, утопающий в цветах, иссиня-бледное напудренное лицо, накрашенные губы, жесткие руки бесстрастной сеньориты, лежащие на бронированной военными наградами груди, пышная парадная форма с десятью закатными солнцами на погонах, означающими выдуманное после его смерти звание Генерала Вселенной, сабля карточного короля, которую он ни разу в жизни не пустил в ход, лаковые краги с двумя золотыми шпорами, разношерстная утварь власти, посмертные военные почести, сведенные к одному дохлому пидору, вот же ж на хрен, да не может такого быть, чтобы это был я, сказал он в бешенстве, несправедливо это, на хрен, сказал он, наблюдая за процессией вокруг гроба, и на миг забыл о темных целях подлога и почувствовал себя униженным, ощутил, что неумолимость смерти надругалась над величием власти, и увидел жизнь без себя, с долей сочувствия увидел людей, лишившихся его покровительства, с затаенной тревогой увидел тех, кто пришел, только чтобы разгадать тайну – он это на самом деле или не он, увидел старика, сделавшего над гробом жест масонского приветствия времен федеральной войны, увидел мужчину в трауре, поцеловавшего его перстень, увидел школьницу, которая возложила цветок, увидел торговку рыбой, которая, не в силах осознать его смерти, уронила корзину со свежей рыбой, разлетевшейся по всему полу, и бросилась на шею надушенному трупу с криком, это он, Боже милосердный, на кого он нас покинул, рыдала она, так это вправду он, закричали все, это он, возопила задыхающаяся толпа на Гербовой площади, и тогда колокола в соборе и во всех храмах перестали бить траурно, а стали бить празднично, даром что была среда, взвились рождественские фейерверки, петарды победы, забили барабаны освобождения, и он увидел, как при молчаливом попустительстве охраны люди полезли в окна, как их злобные вожаки дубинками разогнали процессию, как отшвырнули безутешную торговку рыбой, увидел вцепившихся в труп восемь мужчин, они вытряхнули его из незапамятного пространства и призрачного времени агапантусов и подсолнухов и стащили вниз по лестнице, они разворошили требуху этого роскошно-горестного рая, думая, что разрушат его навеки, если навеки разрушат берлогу власти, разорвут дорические капители из папье-маше и

бархатные портьеры, разобьют вавилонские колонны, увенчанные алебастровыми пальмами, вышвырнут в окна клетки с птицами, трон вице-королей, рояль, взломают крипты с прахом забытых благодетелей, раздерут гобелены, на которых спящие девы возлежали в гондолах утраченных иллюзий, и огромные холсты с епископами и военными в старинной форме и невообразимыми морскими сражениями и таким образом уничтожат этот мир, чтобы в памяти грядущих поколений не осталось ни малейшего воспоминания о проклятой породе людей при оружии, а потом он, чуть раздвинув жалюзи, выглянул на улицу узнать, какой урон нанесла вся эта дефенестрация, и одного взгляда хватило, чтобы увидеть больше срама и неблагодарности, чем я вот этими глазами видывал и оплакивал с самого рождения, мама, он увидел своих счастливых вдов, они удирали через черный ход и уводили коров из моих загонов, выносили правительственную мебель, банки меда твоей пасеки, мама, увидел своих недоносков, они отстукивали развеселый ритм кухонными принадлежностями, бесценными хрустальными статуэтками и столовыми приборами для епископских банкетов и горланили, мой папка помер, да здравствует свобода; увидел костер на Гербовой площади, в котором жгли парадные портреты и картинки с календарей, вездесущие с самого начала режима, и увидел, как волокут по улицам его собственное тело, оно волочится, оставляя за собой шлейф наград и эполетов, пуговиц от доломанов, клочков парчи, позументных тесемок, кистей от карточных сабель и десяти печальных солнц Короля Вселенной, мама, посмотри, во что меня превратили, говорил он и кожей чувствовал, как в него плюют, а больные выливают с балконов ночные горшки, чувствовал бесчестье и ужас при мысли, что его разорвут на части, а потом сожрут псы и стервятники, пока вокруг будет бесноваться, истошно вопя, и греметь фейерверками карнавал моей смерти. Когда буря завершилась, он по-прежнему слышал в воздухе безветренного вечера далекую музыку и продолжал убивать москитов, стараясь одним хлопком придавить и назойливых цикад в ушах, по-прежнему видел зарево пожаров на горизонте, видел маяк, каждые тридцать секунд рисовавший на нем зеленые полосы сквозь просветы в жалюзи, чувствовал естественное дыхание повседневной жизни, которая возвращалась в обычное русло по мере того, как его смерть становилась просто смертью, подобной бесчисленным другим смертям в прошлом, неиссякаемый поток реальности подхватывал его, нес и прибывал к ничейной земле, земле сочувствия и забвения, да ну на хрен, в жопу смерть, воскликнул он и вышел из тайника, взволнованный и совершенно уверенный, что великий час пробил; прошел по разграбленным залам, волоча тяжелые, словно у призрака, ступни, по обломкам предыдущей жизни во мраке, пахнувшем умирающими цветами и фитилями похоронных свечей, толкнул дверь зала совета министров, различил в дымном воздухе голоса, угасшие вокруг длинного стола из орехового дерева, и увидел, что за столом сидят все, кого ему хотелось бы там видеть: либералы, продавшие федеральную войну, консерваторы, купившие ее, генералы из верховного командования, три министра, архиепископ и посол Шнонтнер, все они вероломно созвали собрание во имя борьбы с вековым деспотизмом и для дележа добычи, оставшейся после его смерти, и так глубоко вглядывались они в бездны алчности, что никто из них не заметил появления непогребенного президента, который только раз стукнул ладонью по столу и прокричал: ага! и ничего больше ему делать не пришлось; когда он поднял руку, паническое бегство уже завершилось, и в пустом зале оставались только переполненные пепельницы, недопитые чашки кофе, разбросанные стулья да мой, всю жизнь дружим, кум генерал Родриго де Агилар в полевой форме, низенький, невозмутимый, он единственной своей рукой разогнал дым и приказал, ложись, господин генерал, сейчас начнется, и оба рухнули на пол в тот самый миг, когда перед домом началась смертоносная пляска картечи, мясницкая гулянка президентской охраны, которая с честью и радостью, господин генерал, выполнила суровый приказ, чтобы никто не ушел живым с этой предательской сходки; они пулеметными очередями смели тех, кто пытался бежать через парадный вход, подстрелили, словно птах, других, кто прыгал из окон, живо достали фосфорными гранатами прорвавшихся

через оцепление и укрывшихся в соседних домах и добили раненых в соответствии с принципом президента, гласившим, что всякий выживший – непримиримый враг на всю жизнь; пока он лежал на полу, в двух пядях от генерала Родриго де Агилара, терпеливо снося град стекол и известки, сыпавшейся после каждого взрыва, и непрерывно, как молитву, бормотал, всё, кум, всё, кончено, с этой минуты буду сам командовать, чтоб ни одна собака пасть не разевала, завтра с утра надо будет посмотреть, что в этом бардаке еще сгодится, а что нет, а некуда будет сесть – купим на пока шесть кожаных табуретов, самых дешевых, соломенных циновок, там и сям разложим и ими же дырки заткнем, и пару-тройку еще каких-нибудь штукунин, и довольно, никаких больше тарелок, никаких ложек, ничего, я все из казарм принесу, выставлю вон всех солдафонов, всех офицеров, на хрен, только молоко на них зря перевожу, а как прижало их, убедился, харкают в руку, которая их же кормит, одну президентскую охрану оставляю, они ребята верные и brave, и никакого кабинета, никакого правительства назначать не стану, на хрен, одного только хорошего министра здравоохранения найду, в жизни, кроме здоровья, ничего не надо, ну, может, еще одного с приличным почерком, если понадобится чего написать, а министерства и казармы сдам в аренду, глядишь, и на прислугу денег хватит, тут ведь не людей – денег не хватает, двух хороших служанок найму, одну – убирать-готовить, вторую – стирать-гладить, а за коровами и за птицей, если придется, я сам ходить буду, и никаких больше горластых потаскух в нужниках, никаких прокаженных в розариях, никаких профессоров-всезнаек, никаких таких-сяких глазастых политиков, в конце концов, это президентский дворец, а не негритянский бардак, как, если верить Патрисио Арагонесу, сказали гринго, потому что меня одного за глаза хватит, чтобы всем тут заправлять, пока снова не прилетит комета, да не раз, а хоть десять, я ведь такой парень, что помирать больше не собираюсь, на хрен, другие пускай подышают, говорил он, не умолкая, не задумываясь, словно по памяти декламировал, потому что со времен войны знал: если думать вслух, не так страшно, когда динамитные разряды сотрясают дом, вот он весь вечер и строил планы на завтра и на начинающийся век, пока на улице не раздался последний выстрел, которым кого-то добили, и генерал Родриго де Агилар не дополз по-пластунски до окна и не приказал пригнать мусорные телеги, чтобы увезти трупы, и не вышел из зала, сказав на прощание, спокойной ночи, господин генерал, спокойной ночи, кум, ответил он, премного благодарен, не вставая, лежа лицом на траурном мраморе зала совета министров, а потом подвернул правую руку под голову вместо подушки и мгновенно уснул одиноким, как никогда, сном, убаюканный шелестящим шлейфом желтых листьев своей жалостной осени, которая началась в ту кровавую ночь с дымящихся тел и отражений красных лун в лужах и с тех пор так и не кончалась. Ему не пришлось выполнять принятых решений, потому что армия сама развалилась, войска разбежались, немногих офицеров, продержавшихся до последнего в городских казармах и в других шести военных частях по всей стране, добила президентская охрана при помощи гражданских добровольцев, выжившие министры на рассвете бежали за границу, остались только два самых преданных – один был его личным врачом, а второй слыл первым каллиграфом в стране, – и ему не пришлось сговариваться ни с какой иностранной властью, потому что казна вскоре ломилась от обручальных колец и золотых диадем, дарованных неожиданными сторонниками, и не пришлось покупать циновки и самые дешевые кожаные табуреты взамен утраченного при дефенестрации, потому что еще до полного усмирения страны зал аудиенций отреставрировали так, что он стал краше прежнего, и повсюду были птицы, сквернословили попугаи-ары, попугаи-амазоны, сидя на карнизах, распевали: за Испанию да-да, за Португалию ни-ни; скромные и услужливые женщины содержали дворец в такой чистоте и таком порядке, что он напоминал военный корабль, и в окна врывалась та же бравурная музыка, те же развеселые взрывы хлопушек, те же радостные колокола, что звучали в честь его смерти, а теперь гремели во славу его бессмертия, и на Гербовой площади шла непрерывная демонстрация, звучали громогласные

клятвы в вечной преданности, вздымались громадные транспаранты, сохрани Господь нашего великолепного вождя, который воскрес из мертвых на третий день, бесконечный праздник, который ему не пришлось тайными способами продлевать, как в прежние времена, нет, государственные дела улаживались сами по себе, родина уверенно шагала вперед, он был сам себе правительством, и никто ни словом, ни делом не перечил его воле, потому что во всем своем великолепии и славе он был так одинок, что даже врагов у него не осталось, и такую благодарность испытывал он к своему куму, всю жизнь дружим, генералу Родриго де Агилару, что больше не беспокоился, на кого зря молоко переводится, а построил во дворе рядовых, отличившихся жестокостью и чувством долга, и по наитию, тыкая пальцем, произвел в разные высокие звания, сознавая, что воссоздает вооруженные силы, которые, как прижмет, харкнут в руку, которая их кормит, ты капитан будешь, ты майор, ты полковник, хотя чего там, генерал будешь, а остальные все лейтенанты, хрен ли, кум, вот тебе армия; и так его тронули те, кого огорчила президентская кончина, что он разыскал старика, сделавшего масонский жест, и господина, поцеловавшего перстень, и наградил их медалью мира, разыскал торговку рыбой и дал ей то, в чем она больше всего нуждалась, – большой дом, вмещавший всех ее четырнадцать отпрысков, разыскал школьницу, возложившую цветок, и помог осуществить то, о чем она так мечтала, – выйти замуж за морехода, но, несмотря на все эти утешительные поступки, его смятенное сердце не знало ни секунды покоя, пока он не увидел во дворе базы Сан-Херонимо связанными и заплеванными тех, кто штурмовал президентский дворец и врывался в траурный зал, в своем неумолимом злопамятстве он узнал их всех до единого и разделил на группы в зависимости от степени вины, ты сюда, тому, кто командовал штурмом, вы туда, тем, кто сбил с ног безутешную торговку рыбой, вы налево, тем, кто вытащил труп из гроба и волок по лестницам и грязным лужам, а остальные все станьте справа, сволочи, хотя на самом деле его волновало не наказание, просто он хотел убедить себя, что осквернение мертвого тела и штурм дворца – отнюдь не всенародный порыв, а результат подлого сговора наемников, так что он самолично, твердым голосом и твердой рукой, взялся допрашивать арестованных, чтобы добиться столь желанной его сердцу правды, а не добившись, связал их по рукам и ногам и повесил на жердочке, вроде тех, на которых попугаи висят, вниз головой на много часов, но снова ничего не добился, и сбросил одного в ров, а остальные смотрели, как того разорвали и сожрали кайманы, но и на сей раз ничего не добился, и выбрал одного из главной группы и приказал содрать с него кожу живьем, и все видели нежную и желтую, похожую на только что рожденный послед, изнанку, и их забрызгала горячая, словно суп, кровь куска мяса, который умирал в конвульсиях на камнях посреди двора, и тогда они признались, как он и желал, мол, им заплатили четыреста песо золотом, чтобы они протащили труп до рыночных свалок, хоть они того и не хотели, ни за деньги, ни по собственному почину, ведь ничего против него не имели, тем более мертвого, но на тайном собрании, где присутствовали даже два генерала из верховного командования, их запугали до чертиков, вот почему мы так поступили, господин генерал, слово чести, и тогда он выдохнул с облегчением, приказал накормить их, дать отоспаться, а наутро всех бросьте кайманам, бедолаги-простаки, вздохнул он и вернулся в президентский дворец, и его душу больше не отягощали вериги сомнений, сами видите, бормотал он, сами видите, этот народ меня любит. Он преисполнился решимости рассеять всякую тень опасений, терзавших Патрисио Арагонеса, и потому постановил, что эти пытки станут последними при его режиме, кайманов вскоре перебили, пыточные камеры, приспособленные, чтобы можно было перемолоть живому человеку все кости до единой, разобрали, он объявил всеобщую амнистию и предвосхитил будущее, осененный гениальной мыслью: вся беда этой страны в том, что у людей слишком много свободного времени, нечем голову занять, вот и лезут мысли всякие, и он постарался, чтобы головы были заняты – снова запустил поэтические состязания, известные как мартовские Цветочные игры, а также ежегодные конкурсы красоты, и выстроил самый большой на всем Карибском море стадион для

бейсбола, а национальной сборной присвоил лозунг: победа или смерть, и в каждой провинции велел открыть бесплатную школу подметания, и ученицы этих школ, фанатично преданные заветам президента, принимались, покончив с уборкой своих домов, мести улицы, а потом и шоссе и проселочные дороги, так что горы мусора перемещались из провинции в провинцию и никто не знал, куда все это девать, разве что устраивать вокруг них официальные процессии с флагами и транспарантами, храни Господь наичистейшего, что печется о чистоте страны, пока он передвигал свои медленные, как у задумчивого зверя, ноги и ломал голову, чем бы еще развлечь гражданское население, прокладывая себе путь между толпами прокаженных и слепых и паралитиков, умолявших оделить их целебной солью, собственным именем крестил в фонтане посреди двора детей своих крестников, а вокруг маячили бесстрастные льстецы, они торжественно возвещали, какой он уникальный, потому что теперь действительно не осталось никого равного ему, и он вынужден был раздваиваться в смахивающем на базар дворце, куда каждый день прибывали все новые и новые клетки с невероятными птицами с тех самых пор, как народ прознал, что его мать Бендисон Альварадо всю жизнь была птичницей, одни присылали птиц из подобострастия, другие – в насмешку, но, так или иначе, вскоре места для клеток не осталось, и столько общественных дел вершилось во дворце разом, что по дворам и конторам бродили целые толпы, и невозможно было различить, кто тут оказывает услугу, а кто получает, и столько стен снесли, чтобы увеличить мир, и столько окон распахнули, чтобы видеть море, что простой переход из комнаты в комнату напоминал вылазку на палубу парусника, захваченного осенними перекрестными ветрами. Всю жизнь в окна дворца врывались мартовские пассаты, но теперь говорили: это ветра мира, господин генерал, всю жизнь у него жужжало в ушах, но теперь даже личный врач говорил: это жужжание мира, господин генерал, ибо с той самой минуты, когда его обнаружили мертвым, все вещи в небе и на земле превратились в вещи мира, господин генерал, и он верил, верил так истово, что снова стал наведываться в декабре в дом на утесах и упиваться несчастьем тоскующей братии бывших диктаторов, они отрывались от партии в домино и сообщали ему, я вот, допустим, был дубль шесть, а идейные консерваторы, они, допустим, дубль три, вот только я проворонил тайный сговор масонов и духовенства, да и как было не проворонить, пока в тарелке стыл суп, а кто-то еще рассказывал, вот эта сахарница, положим, – президентский дворец, вот тут, а у последнего вражеского орудия дальность поражения четыреста метров при попутном ветре, вот значит, здесь, так что вы сейчас меня в таком состоянии наблюдаете исключительно из-за невезения, всего-то на восемьдесят два метра мне не повезло, так сказать, и даже самые непробиваемые высматривали на горизонте суда из своих стран, узнавали их по цвету дыма, по ржавому звуку гудка и спускались в порт в морозящем свете первых огней искать газеты, в которые экипаж заворачивал взятые на берег пайки, отыскивали эти обрывки в мусорных баках и жадно прочитывали от корки до корки, пытаясь предугадать будущее родины по новостям, извещавшим, кто умер, кто женился, кого пригласили, а кого нет – на празднование дня рождения, предсказать ее судьбу в зависимости от того, куда полетит направляемая провидением туча, которая однажды обрушится на родину бурей, подобной светопреставлению, и реки выйдут из берегов и снесут плотины и дамбы, и поля затопит, и в города ворвутся глад и мор, и тут-то они прибегут умолять меня спасти их от беды и анархии, вот увидите, но, дожидаясь великого часа, они отзывали в уголок самого молодого изгнанника и просили вдеть нитку в иголку, штаны починю, не хочу выкидывать, у меня с ними приятные воспоминания связаны, тайком стирали белье, заново затачивали бритвенные лезвия, которые выбросили за ненадобностью вновь прибывшие, запирались с тарелкой в комнате, чтобы никто не увидел, какими объедками они питаются, чтобы не осрамиться перед всем миром, показав штаны, выпачканные старческим недержанием, и в один прекрасный четверг мы булавками прикалывали одному из них награды к последней рубашке, заворачивали труп в знамя, пели над ним национальный гимн и отсылали править



забвением на дно под утесами, безо всякого балласта, кроме его изъеденного сердца, и никаких пустот не оставалось от него в мире, кроме места в шезлонге на террасе, откуда мир казался бескрайним, на террасе, где мы усаживались разыгрывать между собой пожитки покойника, если таковые оставались, только представьте себе, господин генерал, после столь славной службы загреметь в гражданские. В одном далеком декабре, когда дом только открыли, он увидел с террасы шлейф зачарованных Антильских островов, которые кто-то показывал ему пальцем на витрине моря, увидел душистый вулкан Мартиники, вон он, господин генерал, увидел тамошнюю лечебницу для чахоточных, здорового негра в кружевной блузе, который продавал охапки гардений губернаторским женам в притворе базилики, увидел преисподнюю рынка в Парамарибо, вон там, господин генерал, крабов, выбиравшихся из моря вверх по трубам уборных и вползающих на столики в кафе-мороженых, брильянты, вделанные в зубы старых негрятенок, которые торговали головами индейцев и корнем имбиря, невозмутимо восседая на своих неподвластных времени ягодицах под разверстыми хлябями небесными, коров из чистого золота, спящих на пляже в Танагуарене, господин генерал, ясновидящего слепца из Ла-Гуайры, который за два реала брался спугнуть смерть-индейку, пиликающая на скрипке с одной струной, увидел жгучий август в Тринидаде, ехавшие по левой стороне автомобили, зеленых индусов, которые справляли большую нужду прямо на улице перед своими лавками, где продавались рубашки из натурального шелка и вырезанные из цельного слоновьего бивня фигурки китайских мандаринов, увидел кошмар Гаити, синих псов, воловью упряжку, на рассвете собирающую с улиц трупы, увидел, как прорастают голландские тюльпаны в топливных баках Кюрасао, дома, похожие на ветряные мельницы, с крышами, способными выдержать обильные снегопады, таинственный трансатлантический лайнер, идущий сквозь центр города, меж отельных кухонь, увидел каменный загон Картахены-де-Индиас, ее запертую на цепь бухту, застывший на балконах свет, запряженных в наемные экипажи одров – кожа да кости, которые, позевывая, вспоминали корм времен вице-королей, запах дерьма, господин генерал, какое чудо, вот и говорите после этого, что мир наш не велик, а он и в самом деле был велик, и не только велик, но и коварен, и если он поднимался в декабре к дому на утесах, то не затем, чтобы точить ляды с беглецами, которых ненавидел, как собственное отражение в зеркале несчастий, а затем, чтобы не упустить волшебный миг, когда декабрьский свет не знал удержу и разом становилась видна вся вселенная Антил от Барбадоса до Веракруса, и тогда он забыл, у кого дубль три, и вышел на террасу окинуть взглядом шлейф островов, грезящих, будто сонные кайманы в заводи моря, и, созерцая острова, вспомнил и вновь пережил ту историческую пятницу в октябре, когда на рассвете вышел из спальни и обнаружил, что все в президентском дворце нацепили красные колпаки, новые наложницы меняют воду птицам и метут полы в красных колпаках, дояры в загонах, караульные на постах, паралитики на лестницах и прокаженные среди розовых кустов щеголяют красными колпаками, больше подходящими для карнавального воскресенья, и стал выяснять, что такого случилось в мире, пока он спал, почему все его домашние и все горожане разгуливают в красных колпаках и каждый таскает с собой связку бубенцов, и наконец нашел человека, который рассказал, как так вышло, господин генерал, приплыли чужеземцы, говорили они диковинно<sup>9</sup>, вместо моря говорили *акиян*, ар называли *попугаями*, каноэ – *челноками*, гарпуны – *дротиками*, и, завидев, что мы направляемся вплавь к их кораблям, они взобрались на мачты и на снасти и кричали друг другу, посмотрите, как они хорошо сложены, и тела, и лица у них весьма красивы, а волосы грубые, точь-в-точь конские гривы, и, видя, что мы раскрашены, чтобы уберечься от солнца, они раскудахтались, как мокрые курицы, мол, посмотрите, они

<sup>9</sup> ...говорили они диковинно... – в текст следующего фрагмента вплетено множество цитат из «Дневника первого путешествия» Христофора Колумба (приводятся в переводе Якова Света) и главы 28 книги I «Истории Индии» одного из наиболее выдающихся хроникеров Конкисты Бартоломе де лас Касаса (в частности, упоминания о «фламандском мелочном товаре»).

разрисовывают себя черной краской, а кожа у них такого цвета, как у жителей Канарских островов, которые не черны и не белы, а иные разрисовывают себя тем, что попадетсЯ под руку, и мы не понимали, какого хрена они над нами потешаются, господин генерал, мы-то были в натуральном виде, в чем мать родила, а вот они, наоборот, разодеты, будто трефовые валеты, несмотря на жару, которую они называют *жар*, как голландские контрабандисты, и волосы у них уложены на женский манер, хотя все они мужчины и женщин меж ними мы не видели, и они кричали, что мы не понимаем по-христиански, хотя сами не понимали, что мы им кричим, а потом подплыли к нам на своих каноэ, которые называют *челноками*, как мы уже упоминали, и восхищались, что у наших гарпунов наконечники из шипов тарпона<sup>10</sup>, они говорили – из *рыбьих зубов*, и сменяли нам всё, что у нас было, на эти красные колпаки и связки стекляшек, нанизанных на ниточку, которые мы вешали на шею, чтобы их позабавить, а еще на бронзовые погремушки из тех, что ценятся по мараведи за штуку, на горстки зеркального камня и горшки и другой фламандский мелочной товар, самый дешевый, господин генерал, и мы увидели, что из них получаются хорошие и толковые и сметливые слуги, и незаметно увлекли их за собой на берег, но вот какая штука приключилась, каждый орал, сменяй мне это на то, меняю то на сё, и не успели оглянуться, как образовалась огромная барахолка, и все выменивали своих попугаев, свой табак, свои шоколадные головы, свои игуаны яйца, все что ни создал Господь, брали и с большой охотой отдавали все, чем владели, и даже хотели выменять одного из нас за бархатный хубон<sup>11</sup>, чтобы выставить потом в Европах, только вообразите себе, господин генерал, какое безобразие, но он пребывал в таком смятении, что никак не мог понять, относится ли это несусветное дело к полномочиям его правительства, а потому вернулся в спальню, распахнул окно на море в надежде увидеть что-нибудь, что пролило бы новый свет на эту запутанную историю, и увидел у причала всегдашний броненосец, покинутый морпехами, а за броненосцем, на рейде в сумрачном море, увидел три каравеллы.

Когда его, поклеванного стервятниками, во второй раз обнаружили в той же комнате, в той же одежде и в той же позе, ни один из нас, в силу возраста, не мог помнить, как это произошло впервые, но все мы знали, что никакое доказательство его смерти не является окончательным, потому что за правдой всегда скрывается другая правда. Даже наименее рассудительные не удовлетвоались увиденным, ведь давно было известно – он страдает падучей и прямо во время аудиенций, бывает, валится с трона, бьется в конвульсиях и изрыгает желчную пену, дар речи он утратил, точнее, израсходовал, и теперь за портьерами скрываются чревоуещатели, они-то и говорят за него, а по всему телу у него отрастает чешуя, как у тарпона, в наказание за распущенность, в прохладные декабрьские дни его разбухшее яичко поет моряцкие песни, и ходить он может только при помощи ортопедической тележки, на которой это самое яичко возит, а однажды в полночь военный фургон через задние ворота привез гроб с отделанными золотом углами и пурпурными воланами, и кто-то видел, как Летисия Насарено в дождливом саду истаивает от рыданий, но чем убедительнее звучали слухи о его смерти, тем более живым и властным он появлялся внезапно, чтобы вновь непредсказуемо переиначить нашу судьбу. Легко было пойти на поводу у очевидных улик – перстня с президентской печатью, сверхъестественно больших ступней неутомимого ходока или уникального в своем роде гигантского яичка, к которому не посмели прикоснуться стервятники, но всегда находился кто-то, кто припоминал точно такие же признаки у других, менее значительных покойников прошлого. Тщательный осмотр дворца никак не помог установить, кто же на самом деле умерший. В спальне Бендисьон Альварадо, женщины, которую мы едва помнили по байке о ее канонизации государственным указом, мы нашли несколько изломанных клеток

<sup>10</sup> *Тарпон* – крупная атлантическая рыба.

<sup>11</sup> *Хубон* – род куртки с воротником-стойкой, характерный для испанского мужского костюма XV века.

с птичьими косточками, превратившимися от времени в окаменелости, увидели поеденное коровами плетеное кресло, увидели наборы водяных красок и стаканы с кисточками, какими некогда пользовались продавщицы птиц с плоскогорья, если хотели на ярмарках выдавать неказисто-блеклых птах за иволг, увидели горшок с кустиком конской мяты, который так разросся в запустении, что его стебли всползли по стенам и продырявили глазницы важных персон на портретах, вырвались за окно и вплелись в дикие дебри, образовавшиеся на задних дворах, но не нашли ни единого следа его пребывания в этой комнате. В брачной спальне Летисии Насарено, женщины, которая запомнилась нам отчетливее всех прочих не только потому, что царствовала в более близкую нам эпоху, но и потому, что ее появления на публике всегда отличались большим шумом, мы увидели добротную кровать для любовных безумств с вязанным балдахином, в котором теперь неслись куры, в сундуках нашли недоеденные молью песцовые воротники, проволочные остовы кринолинов, белоснежную пыль нижних юбок, корсеты брюссельского кружева, мужские ботинки, которые она носила дома, и атласные туфли с пряжкой и на высоком каблуке, в которых выходила в свет, длиннополые балахоны с фетровыми фиалками и лентами из тафты, приличествующие похоронным почестям первой леди, и облачение послушницы, сшитое из грубого, словно овечья шкура, полотна пепельного оттенка, – так она была одета, когда в ящике для перевозки хрупкой посуды ее выкрали с Ямайки, чтобы усадить в кресло тайной президентши, но и в этой комнате мы не обнаружили ничего, что позволяло бы сделать предположение, что это пиратское похищение свершилось по любви. В президентской спальне, где он проводил большую часть времени в последние годы, мы нашли только казарменную койку, на которой никто никогда не спал, переносной нужник, вроде тех, что антиквары забирали из особняков, покинутых морпехами, железный сундучок, а в нем – девяносто две его награды, и форму из грубого полотна, без знаков различия, такую же, как на трупе, только пробитую, точнее, изрешеченную и обожженную шестью снарядами крупного калибра, которые вошли со стороны спины и вышли со стороны груди, отчего мы уверовали во всем известную легенду – будто бы предательская пуля не причиняет ему вреда, а пущенная в упор отскакивает и поражает самого стрелка, и уязвим он лишь для пуль, направленных из жалости кем-то, кто любит его настолько, что готов за него умереть. Обе формы были покойнику малы, но это вовсе не доказывало, что они не с его плеча, в свое время говорили, что он рос, пока ему не исполнилось сто лет, а в сто пятьдесят у него снова сменились зубы, хотя, по правде говоря, траченное стервятниками тело не превосходило по размеру тело среднего мужчины нашего времени, а зубы были маленькие, здоровые и неострые, похожие на молочные, кожа цвета желчи, без единого шрама, пестрела старческими пятнами и здорово пообвисла там и сям, словно некогда он был толстяком, на месте безмолвных глаз оставались лишь глазницы, и со знакомым нам образом совпадали, помимо разбухшего яичка, только гигантские квадратные плоские стопы с заскорузлыми и кривыми, как ястребиные когти, ногтями. Одежда была мала, а вот описания историков оказались ему велики, ведь в официальных детсадовских книжках он представлял таким патриархом-великаном, который никогда не выходил из дома, потому что не пролезал в двери, любил детишек и ласточек, знал язык некоторых зверей, умел предвосхищать капризы природы, угадывал мысли, лишь разок глянув человеку в глаза, и ведал тайну целебной соли, способной заживлять язвы прокаженных и ставить на ноги паралитиков. Хотя всякие упоминания о его происхождении исчезли из книг, считалось, что он родом с плоскогорья – об этом говорили неумный аппетит к власти да и самый характер его правления, угрюмый нрав, непостижимая сердечная подлость, подвигнувшая его продать море иностранцам, а нас обречь жить перед лицом бескрайней равнины, усыпанной шершавой лунной пылью, с никчемными закатами, от которых ныла душа. Подсчитывали, что всего у него родилось больше пяти тысяч детей, все – семимесячные недоноски от неисчислимых и нелюбимых любовниц, проходивших через его сераль, покуда он был в силах развлекаться с ними, но ни один отпрыск

не носил его имени и фамилии, кроме сына от Летисии Насарено – в момент рождения произведенного в дивизионные генералы с полным правом командования, – поскольку он всегда считал, что ребенок принадлежит только матери и никому больше. Для него самого это суждение тоже было справедливо, все знали, что он, как и самые знаменитые деспоты в истории, безотцовщина, а единственная родня, которую он предъявлял миру, а может, и вовсе единственная, которая за ним водилась, была мама моя любимая Бендисьон Альварадо, которая, если верить школьным учебникам, зачала его чудесным образом, без вмешательства мужчины, и во сне ей были явлены тайные ключи к его великой судьбе, и он государственным указом провозгласил ее Матриархом Родины, руководствуясь тем простым аргументом, что мать человеку дается одна – моя, странная женщина неизвестного роду-племени, чья душевная простота возмущала поборников президентского достоинства на заре режима, не могли они смириться, что мать главы государства вешает себе на шею камфорную подушечку, желая уберечься от всякой заразы, икру подцепляет вилкой, а в лаковых туфлях ходит, переваливаясь с боку на бок, как птичка пигалица, не могли снести, что на террасе музыкальной гостиной она устроила пасеку, в конторах выращивает индюшек и раскрашивает цветной водичей разных других пернатых, на балконе для речей развешивает сушиться постельное белье, не могли стерпеть, что однажды на дипломатическом приеме она заявила, мол, устала Господа Бога молить, чтобы свергли моего сына, потому что разве это жизнь, в президентском-то дворце, все равно что при вечно включенном свете жить, господа хорошие, и вышло это у нее так же естественно, как в какой-то День независимости, когда она протолкалась сквозь строй почетного караула с корзиной пустых бутылок, подошла к президентскому лимузину, готовому открыть праздничную процессию в вихре цветов, под овации и бравые марши, сунула корзину в окошко машины и велела сыну: сдай бутылки в магазин на углу, оно ведь тебе по пути, бедная матушка. И ярче всего эта историческая несознательность пробила наружу на торжественном банкете тем вечером, когда мы отмечали высадку морской пехоты под командованием адмирала Хиггинсона, и Бендисьон Альварадо, увидав сына в парадной форме, золотых медалях и атласных перчатках, которые он потом носил всю жизнь, не смогла сдержать порыв материнской гордости и громко воскликнула прямо перед выстроившимся в полном составе дипломатическим корпусом: эх, знала бы я, что мой сын выйдет в президенты республики, послала бы его в школу, можно себе представить, какой это был конфуз, если после банкета ее сослали жить в особняк в предместье, одиннадцатикомнатные хоромы, которые ему достались по чистому везению однажды вечером, когда командиры федеральной войны разыграли между собой в кости роскошный квартал, прежде населенный беглыми ныне консерваторами, только вот Бендисьон Альварадо не понравились имперские покои, я там словно жена папы римского себя чувствую, и она предпочла жить в комнатах для прислуги под боком у шести приставленных к ней босоногих служанок, вселилась со швейной машинкой и клетками, полными разноцветных птиц, в богом забытый чулан, куда днем не добиралась жара, а ближе к шести часам – москиты, усаживалась шить в ленивом свете просторного двора, под целительными душистыми тамариндами, пока куры бродили по гостиной, а солдаты из охраны лапали горничных в пустых спальнях, водными красками творила новых иволг и плакала служанкам на несчастья моего бедного сына, его ведь эти пехотинцы-то морские держат взаперти в президентском дворце, так далеко от матери родной, и нету у него заботливой жены, никто его посреди ночи не приголубит, если он проснется от боли, заморочили ему голову этой президентской должностью, и всего-то за жалкие триста песо в месяц, бедный мой сынок. Она хорошо знала, о чем говорит, ведь он навещал ее каждый день, покуда город тонул в трясине сиесты, приносил ее любимые цукаты и выговаривался, облегчал душу, рассказывал, как ему горько быть прихвостнем морпехов, как приходится в салфетках воровать засахаренные апельсины и фиги в сиропе, потому что у оккупационных властей имеются счетоводы, и счетоводы эти записывают в свои книги всё,

даже обеды, как на днях в президентский дворец заявился капитан броненосца с какими-то вроде как астрономами сухопутными, и они со всего стали снимать мерки, а со мной даже не поздоровались, только над головой у меня махали своими рулетками и что-то по-английски считали и через переводчика мне кричали, отойди, мол, и он отходил, и света пусть не застит, и он не застил, стань, на хрен, где мешаться не будешь, а он не знал, куда стать, чтоб не мешаться, потому что куда ни плюнь, всюду были измерители, измеряли даже сколько света проникает через балконные двери, но это еще не самое худшее, мама, они выставили на улицу двух последних костлявых наложниц, которые у него оставались, адмирал сказал, недостойны они президента, и ему и впрямь так не хватало женщины, что иногда он только делал вид, будто ушел из особняка в предместье, но его мать слышала, как он гоняется за служанками в полумраке спален, и уж так ей становилось горько, что она начинала встряхивать птиц в клетках, чтобы никому в голову не пришло задуматься о горестях ее сына, насильно заставляла птиц петь, чтобы соседи не слышали звуков наскока, позорной возни, сдавленных угроз, а ну-ка, уймись, господин генерал, а не то маме вашей нажалуюсь, и нарушала сиесту певчим птахам, вынуждала их заливаться во все горло, чтобы никто не расслышал бездушное пыхтение мужика, которому приспичило, грустное копошение любовника, не потрудившегося раздеться, повизгивание разохотившегося кобеля, его одинокие слезы, которые словно проваливались в темноту, словно сгнивали от жалости к себе под кудахтанье кур, взбудораженных этой неотложной любовью в жидком стеклянном воздухе спален, в лишенном бога августе, в три часа пополудни, бедный, бедный мой сынок. Этой скудости предстояло длиться до тех пор, пока оккупационные силы, испугавшись чумы, не покинули страну, хотя до окончания договора о высадке оставалось еще много лет, они разобрали, пронумеровали и разложили по дощатым ящикам офицерские дома, сняли с места и скатали в рулоны голубые лужайки, будто ковры, упаковали баки для стерильной воды, привозимые из-за границы, чтобы их изнутри не пожрал мотыль из наших водоемов, свернули белые госпитали, динамитом взорвали казармы, чтобы никто не узнал, как их построили, бросили у причала старый броненосец, по палубе которого бродил июньскими ночами призрак адмирала, заплутавший в шторме, но прежде чем увезти на своих летучих поездах весь этот рай для любителей портативных войн, они прицепили ему почетную медаль за добрососедство, оказали полагающиеся главе государства почести и громко, чтобы все слышали, сказали сиди дальше в своем негритянском бардаке, посмотрим, как ты без нас справишься, но хоть убрались, мама, хрен ли, свалили, и впервые после долгих понурых воловьих лет он поднялся по лестнице и говорил твердым голосом и правил твердой рукой, а его обступали с мольбами, чтобы снова разрешили петушинные бои, и он постановлял, разрешаю, чтобы вернули запуски воздушных змеев и прочие бедняцкие забавы, запрещенные морпехами, и он постановлял, разрешаю, столь убежденный в своей безграничной власти, что переставил местами цвета на национальном флаге, а фригийский колпак на гербе заменил поверженным драконом захватчиков, потому что теперь мы сами себе цепные псы, мама, да здравствует чума. Бендисьон Альварадо всю жизнь суждено было вспоминать эти треволнения власти, а также треволнения нищеты – они были давнее и горше, – но никогда с такой тоской, как после фальшивой кончины, когда он купался в тягучих водах процветания, а она по-прежнему жаловалась всякому, кто имел охоту слушать, мол, что толку быть матерью президента, если из пожитков имеешь одну только паршивую швейную машинку, ведь вы не смотрите, что он разъезжает в увешанной золотом карете, сетовала она, на самом деле ничегошеньки у моего сына нет, даже местечка под могилку, и это после стольких лет службы родине, сеньор, несправедливо это, и жаловалась она не по привычке и не из лицемерия, а потому, что он больше не делился с ней своими кручинами и не спешил выдать ей, наперснице, самые смачные секреты власти и так изменился со времен морпехов, что Бендисьон Альварадо казалось – он теперь старше ее, он ушел во времени дальше вперед, она слышала, как он запинаясь на простых словах, путается в событиях, видела, как он

иногда пускает слюни, и испытала приступ не материнской, но дочерней жалости, когда он ворвался в особняк в предместье с охапкой свертков, которые ему не терпелось открыть все разом, рвал бечевку зубами, обламывал ногти об узлы, пока она на шаривала ножницы в корзинке с шитьем, и запускал обе руки в грудь хлама, задыхаясь от предвкушения, вы посмотрите, мама, говорил он, какие годные штуки, живая русалка в аквариуме, заводной ангел в натуральную величину, он летает по комнатам и ежечасно бьет в колокол, огромная раковина, а внутри у нее не шум прибоя и не морской ветер, а национальный гимн, стоящие штуки, мама, видите, как хорошо не быть бедным, говорил он, но она не вторила его радости, а принималась покусывать кисточки, которыми разрисовывала иволг, чтобы сын не заметил, как разрывается от сострадания ее сердце при воспоминании о прошлом, известном ей, как никому другому, при мысли, чего ему стоило усидеть на том стуле, где он сидел теперь, и не в эти легкие времена, когда власть – материя ощутимая, безусловная, стеклянный шарик на ладони, как он сам говорил, а когда она была скользкой рыбой, привольно плававшей в соседнем дворце, а за ней гонялась прожорливая стая последних командиров федеральной войны, которые помогли мне свергнуть генерала и поэта Лаутаро Муньоса, просвещенного деспота, упокой Господь его душу вместе с его томами Светония<sup>12</sup> на латыни и сорока двумя скакунами голубых кровей, но в обмен на военную помощь они присвоили асьенды и скот бежавших землевладельцев и поделили всю страну на автономные провинции, пользуясь железным аргументом, мол, это и есть федерализм, господин генерал, за него-то мы и проливали кровь, и стали единоличными владельцами каждый в своем краю, с собственными законами, собственным Днем независимости, собственными банкнотами за подписью каждого из них, собственной парадной формой с саблями, украшенными драгоценными камнями, с кистями на доломанах, треуголками с плюмажами из павлиньих перьев, как на картинках, где изображались вице-короли, правившие родиной давно, еще до него, командиры были дикие нравом и чувствительные, сеньор, они без спросу входили в президентский дворец через парадный вход, родина – она ведь общая, господин генерал, потому-то мы и жизнь за нее положили, вставляли лагерем в бальных залах вместе со своими гаремами, выводками детей и скотиной, которую им пригоняли в качестве дани за мир везде, куда бы они ни направлялись, такое у них было требование, чтобы на столе никогда не бывало пусто, и у каждого имелась личная охрана из лютых наемников, которые вместо обуви обматывали ноги рваным тряпьем и едва умели говорить по-человечески, зато знали толк в жульничестве при игре в кости, а с оружием управлялись умело и безрассудно, так что главная резиденция напоминала цыганский табор, сеньор, густо пахла вышедшей из берегов рекой, офицеры из главного штаба развезли по своим асьендам мебель времен республики и разыгрывали в домино правительственные привилегии, не вникая в мольбы его матери Бендиссон Альварадо, которая не имела ни минуты покоя, непрерывно и безуспешно сметала с полов горы ярмарочного мусора и старалась навести хоть какой-то порядок в этом кораблекрушении, потому что она единственная противилась неуклонному разращению дела либералов, она единственная попробовала гнать их метлой, когда увидела, до чего довели дом эти непотребные греховодники, которые разыгрывали в карты президентские кресла, увидела, как они предаются содомии, укрывшись за фортепиано, как гадят в алебастровые арфы, хотя она им объясняла, нет, сеньор, это не переносные нужники, это амфоры, добытые в пантеллерийских морях<sup>13</sup>, но они знай себе твердили, не, это богатейские сральники, и не было такой силы человеческой, чтобы их разубедить, и не было силы божеской, чтобы помешать генералу Адриано Гусману присутствовать на дипломатическом приеме в честь десятой годовщины моего прихода к власти, хотя никто и вообразить себе не мог, что нас ожидало, когда он возник на пороге бального зала в скромной

<sup>12</sup> Светоний – древнеримский писатель и историк I века.

<sup>13</sup> Пантеллерийские моря – воды вокруг острова Пантеллерия в Сицилийском проливе Средиземного моря.



форме из белого льна, надетой к случаю, без оружия, как и обещался мне, дал слово военного, появился в окружении свиты французских беглых преступников, одетых в гражданское и нагруженных охапками кайенских антуриумов, которые генерал Адриано Гусман вручил, каждой – по одному, супругам послов и министров, предварительно раскланявшись и получив согласие мужей, потому что так, если верить его наемникам, принято в Версале, и в точности так он и поступил, ведомый редким джентльменским чутьем, а потом долго сидел в уголке, наблюдая за танцами и одобрительно кивая, отлично, приговаривал он, отлично пляшут эти франты, все равно что в своих Европах, приговаривал он, надо отдать им должное, приговаривал он, всеми забытый в кресле, и только я заметил, что один из его свиты подливает ему шампанского после каждого глотка, и время шло, а он постепенно тяжелеел и багровел больше обычного и расстегивал пуговицу на мокром от пота кителе всякий раз, когда подавленная отрыжка подступала к глазам, он осоловело всхлипывал, мама, а потом вдруг с трудом поднялся в перерыве между танцами и расстегнул оставшиеся пуговицы на кителе, а потом – пуговицы на ширинке, распахнулся настежь и оросил надушенные декольтированные и министрши из своего чахлого стервятнического шланга, кислой мочой пьяного вояки он заливал нежные муслиновые подолы, корсеты из золотой парчи, страусовые веера и в круговороте паники невозмутимо распевал, хоть ты меня отвергла, полью я сад твой дивный, о, несравненны розы, распевал он, и никто не решался скрутить его, даже он, потому что я знал: я одолею любого из них поодиночке, но если двое сговорятся, окажусь гораздо слабее, так думал он, все еще не понимая, что видит других насквозь, в то время как они и догадываться не могли о скрытых мыслях гранитного старца, чье спокойствие равнялось разве что его же непоколебимому благоразумию и непревзойденному умению ждать, мы видели только скорбные глаза, жесткие губы, стыдливую девичью руку, которая не дрогнула на эфесе сабли даже в тот ужасающий полдень, когда к нему пришли с известием, мол, командир Нарсисо Лопес, накурившись конопли и упившись анисовкой, затащил в нужник ефрейтора из президентской охраны, возбудил до невозможности всякими бабьими уловками, а потом принудил, вставь мне по самую кочерыжку, это приказ, на хрен, целиком, даже яички твои золотенькие, плача от боли, плача от ярости, пока не очнулся и не обнаружил, что стоит на четвереньках и униженно блюет, свесив голову в зловонные испарения сортира, и тогда он поднял адонического ефрейтора за шкурку и копьём, точь-в-точь как у погонщиков скота на равнинах, пригвоздил, словно бабочку, к гобелену с весенним пейзажем в зале аудиенций, и три дня никто не отваживался снять его, бедолагу, потому что он, само собой, следил за бывшими товарищами по оружию, чтобы те не сговорились против него, но в личную жизнь не вмешивался, убежденный, что они сами друг друга истребят прежде, чем к нему пришли с известием, господин генерал, генерала Хесукристо Санчеса его же охрана вынуждена была забить стульями, когда у него сделался приступ бешенства после укуса кота, бедолага, он даже не отвлекся от партии в домино, когда ему на ухо шепнули, генерал Лотарио Серено утонул, потому что лошадь под ним пала аккуратно в ту минуту, когда они пересекали реку, бедолага, едва моргнув, когда пришли с известием, господин генерал, генерал Нарсисо Лопес засунул себе в зад динамитную пашку и взорвался к такой-то матери, не в силах больше выносить своей позорной педерастии, а он только повторял, бедолага, как будто не имел отношения к этим бесславным смертям, и каждый раз издавал указ о посмертных почестях, провозглашал умерших мучениками, павшими при исполнении долга, устраивал пышные похороны и помещал в национальный пантеон, все гробницы – на одной высоте, ведь отчизна без героев – все равно что дом без дверей, говорил он, а когда во всей стране осталось не больше шести генералов, он пригласил их отпраздновать свой день рождения дружеской попойкой в президентском дворце, всех вместе, сеньор, даже генерала Хасинто Альгарабию, самого отпетого злодея из всех, который бахвалился, будто зачал ребенка с собственной матерью, и ничего не пил, кроме метилового спирта с порохом, только мы одни, как в старые

добрые времена, господин генерал, все без оружия, словно молочные братья, но каждый в сопровождении охраны, она толчется в соседнем зале, навьюченная великолепными подарками единственному из нас, кто умеет понять каждого, подразумевалось – единственному, кто смог с ними управиться, единственному, кому удалось выковырять из далекого логова где-то на плоскогорье легендарного генерала Сатурно Сантоса, осторожнейшего чистокровного индейца, который везде и всегда ходил без обуви, как мать на свет родила, босиком, потому что нам, справным мужикам, не дышится, если мы землю ногами не чувствуем, он приехал, укутанный в одеяло, ярко раскрашенное фигурами диковинных зверей, приехал, как всегда, один, без охраны, распространяя впереди себя мрачный дух, вооруженный только мачете для сахарного тростника, каковое мачете отказался снять с пояса под тем предлогом, что это не оружие, а рабочая утварь, и привез мне в подарок орла, приученного к войнам настоящих мужчин, а еще андскую арфу, мама, священный инструмент, ее мелодии заклинают бурю и подгоняют урожай, генерал Сатурно Сантос играл на ней искусно и от всего сердца, пробуждая в нас ностальгию по страшным ночам времен войны, вызывая воспоминания о вон паршивых псов времен войны, поднимая со дна души песню времен войны о золотой лодке, которая нас поведет<sup>14</sup>, пели ее хором, с чувством, мама, вернулся я с моста, обливаясь слезами<sup>15</sup>, пели они, поглощая индюшку со сливами и половину молочного поросенка, и каждый пил из своей личной бутылки, кто что любил, все, кроме него и генерала Сатурно Сантоса, которые за всю жизнь не притронулись к спиртному, не курили и ели лишь самую малость, необходимую для поддержания сил, спели в честь моего дня рождения песенку про царя Давида, который по утрам пел песни красавицам<sup>16</sup>, со слезами пропели все заздравные, которые были в ходу до того, как консул Ханеманн привез новинку, гос подин генерал, фонограф с цилиндром, исполнявший *хэппи бёздэй*, пели полусонные, полумертвецки пьяные, позабыв о молчаливом старце, который в полночь взял лампу, обошел перед сном весь дом по своей казарменной привычке и на обратном пути в праздничном зале в последний раз увидел шестерых генералов, сгрудившихся на полу, неподвижных, довольно посапывающих в дружеских объятиях, а над ними – пять зорко бдящих отрядов охраны, потому что даже во сне и в обнимку они боялись друг друга почти так же сильно, как каждый из них боялся его, а сам он боялся сговора двоих из них, и он повесил лампу обратно на притолоку, закрылся на три замка, три засова, три щеколды в своей спальне и рухнул лицом вниз, подложив правую руку под голову вместо подушки, в тот самый миг, когда фундамент дома вздрогнул от залпа: все оружие всех отрядов охраны выстрелило разом, один залп, хрен ли, никакого постороннего шума, ни единого стоны, а потом еще разок, хрен ли, и на этом все, конечно, в тишине мира осталась только пороховая взвесь, да он сам, навсегда избавившийся от тревог власти, когда увидел в палевых лучах рассвета, как ординарцы из домашней obsługi шлепают по кровавой трясине, в которую превратился праздничный зал, увидел свою мать Бендисьон Альварадо, застывшую в неопишемом ужасе: она заметила, что стены сочатся кровью, сколько ни оттирай их известью и золой, сеньор, с ковров льет кровь, как их ни выкручивай, и по коридорам и конторам кровь течет рекой, и тем больше течет, чем тщательнее стараются ее отмыть, чтобы скрыть великую бойню, на которой пали последние наследники нашей войны; по официальной версии, их убила собственная обезумевшая охрана, их тела, завернутые в стяги, заполонили собой весь национальный пантеон для поистине епископской панихиды, и ни один человек не вышел живым из этой

<sup>14</sup> ...песню о золотой лодке, которая нас поведет... – имеется в виду «Золотая лодка», песня о прощании, предположительно сочиненная мексиканским композитором Абундио Мартинесом на рубеже XIX–XX веков.

<sup>15</sup> ...вернулся я с моста, обливаясь слезами... – строки из баллады «На заре» мексиканского композитора Мануэля Понсе (1882–1948). Цитируются также в романе Г. Гарсиа Маркеса «Любовь во время чумы».

<sup>16</sup> ...песенку про царя Давида, который по утрам пел песни красавицам... – имеется в виду мексиканская песня «Маньянитас», предположительно, народная, традиционно исполняющаяся в качестве поздравления с днем рождения во многих испаноязычных странах.

кровавой западни, никто, господин генерал, кроме генерала Сатурно Сантоса, который до того увешался скапуляриями, что пули отскакивали, и к тому же знал индейские уловки и мог менять собственное естество по желанию, вот ведь засранец, легко мог превратиться в броненосца или в озерцо, господин генерал, даже в гром, и он знал, так оно и есть, потому что самые хитроумные следопыты потеряли его еще под прошлое Рождество, лучшие охотничьи псы не могли взять его след, он видел его в образе пикового короля в колодах гадалок и знал, что тот жив, спит днем и передвигается ночью ущельями и теснинами, по суше и по воде, но за ним остается эхо его молитв, и эти молитвы сбивают с толку преследователей и расхолаживают волю врагов, однако он ни на миг не прекращал поиски, годы и годы ждал, пока много лет спустя не увидел в окно президентского поезда толпу мужчин и женщин с детьми, животными, кастрюлями и горшками, он много таких встречал во время войны, тогда они следовали за войсками, а сейчас, неся больных в гамаках, шествовали под дождем за очень бледным человеком в холщовой тунике, говорит, будто чей-то посланец, гос подин генерал, и тут он хлопнул себя по лбу и сказал, так вот же он, хрен ли, и это и вправду был генерал Сатурно Сантос, добивавшийся милосердия паломников чарами своей расстроенной арфы, жалкий и насупленный, в поношенной фетровой шляпе и драном пончо, но даже в таком плачевном состоянии убить его оказалось гораздо труднее, чем он ожидал, генерал Сатурно Сантос обезглавил своим мачете трех из его лучших людей, втихую подосланных к нему, а против остальных, тоже свирепых бойцов, выступил так бесстрашно и ловко, что он приказал остановить поезд у печального кладбища посреди плоскогорья, где проповедовал посланец, и все стремительно разбежались, когда из вагона, раскрашенного в цвета национального флага, выпрыгнула президентская охрана, готовая стрелять на поражение, никого вокруг не осталось, только генерал Сатурно Сантос стоял подле легендарной арфы и сжимал рукоятку мачете, словно замороженный зрелищем своего злейшего врага, когда тот появился на пороге вагона в полотняной форме без знаков различия, безоружный, и выглядел он более старым и далеким, чем если б мы с вами сто лет не виделись, господин генерал, он показался мне усталым и одиноким, кожа у него пожелтела, будто он маялся печенью, а глаза слезились, но он излучал мертвенно-бледное сияние, свойственное тем, кто хозяин не только собственной власти, но и власти, отнятой у мертвых, так что я приготовился умереть, не сопротивляясь, счел бесполезным перечить старцу, который прибыл из такого дальнего далека, не имея других причин и заслуг, кроме непомерной жажды командовать, но он открыл ему навстречу огромную, будто скат, ладонь, храни тебя Господь, мужик, родина достойна тебя, поскольку знал – непобедимого врага можно победить только дружбой, а генерал Сатурно Сантос поцеловал землю, по которой он ступал, и умолял, чтобы он позволил ему служить вам, как прикажете, господин генерал, покуда мачете в руках моих еще способно петь, и он согласился, ладно, и сделал его своим телохранителем с единственным условием, никогда не становись у меня за спиной, сделал его своим партнером по домино, и вдвоем, в четыре руки, они догола раздели не одного опального деспота, он позволял ему босым ездить в президентской карете и брал на дипломатические приемы, хотя от его ягуарового дыхания собаки приходили в неистовство, а женам послов делалось дурно, клал его спать поперек порога своей спальни, чтобы было не так страшно, когда становилось до того невмоготу, что он дрожал от ужаса при мысли, что ночью ему придется встретиться с людьми из снов, держал его в десяти пядях от полного доверия в течение долгих лет, пока подагра не изуродовала его руки, так что мачете в них больше не пело, и он не попросил об услуге, убейте меня сами, господин генерал, чтобы другому не доставить такого удовольствия – прикончить меня без всякого на то права, но он назначил ему приличную пенсию, наградил благодарственной медалью и отправил умирать на покой, в логово скотокрадов на своем родном плоскогорье, и не смог сдержать слез, когда генерал Сатурно Сантос без всякого стеснения, захлебываясь рыданиями, сказал, видите, гос подин генерал, даже самым справным мужикам приходит пора обабиться,

вот ведь оно как. Поэтому Бендисьон Альварадо, как никто, понимала его мальчишескую радость, когда он пытался расквитаться со скверными временами, и безрассудство, с которым проматывал доходы от своей власти, чтобы в старости у него было все, чего не хватало в детстве, но ее выводило из себя, что его рано наступившей наивностью пользуются внаглую, всучая всякое барахло, какое только гринго напридумывали, барахло, которое было не дороже и отнюдь не требовало такого умения, как ее фальшивые птахи, а ведь она за них и пятерки никогда не выручала, наслаждайся, говорила она ему, но и о будущем помни, не хочу тебя видеть с протянутой рукой на паперти, если завтра или когда-нибудь потом, не приведи Господь, из-под тебя выбьют стул, добро бы ты хоть петь умел, или был архиепископом, или мореходом, но ты-то всего лишь генерал, ни на что не годишься, только командовать, лучше закопай в надежном месте, советовала она, лишние деньги от должности, где до них никто не доберется, не ровен час – придется удирать, как этим несчастным ничейным президентам, которые пестовали забвение и, словно милостыни, выжидали пароходных гудков в своем доме на утесах, посмотри на себя в зеркало, говорила она ему, но он не слушал, а только развеивал ее безутешность волшебными словами: не волнуйтесь, мама, этот народ меня любит. Бендисьон Альварадо много лет жаловалась на бедность, ругалась со служанками из-за денег, потраченных на рынке, и частенько даже пропускала обед из экономии, и никто не осмеливался открыть ей правду: она одна из богатейших женщин мира, ведь все нажитое за годы правления сын записывал на ее имя, и ей принадлежали не только неизмеримые уголья и бесчисленные стада, но и трамваи, и почта, и телеграф, и территориальные воды, так что любое судно, бороздившее воды амазонских притоков или здешних морей, должно было платить ей за это право, о чем она до конца жизни не догадывалась, а еще не догадывалась, что ее сын не столь нищ, как она предполагала при виде его восторгов, когда он наводнял особняк в предместье старческими игрушками, потому что помимо налога, который он получал лично за каждую голову скота в стране, помимо платы за благосклонность и корыстных подарков, присылаемых его сторонниками, он обладал и другим значительным источником прибыли: придумал способ всегда выигрывать в лотерею и давно и успешно им пользовался. То были времена, предшествовавшие его фальшивой кончине, времена шума, сеньор, которые так назывались – вопреки предположениям многих – вовсе не из-за подземного гула, который однажды вечером на святого Ираклия слышался по всем просторам родины, и причину так никто и не узнал, а из-за неумолчного грохота начатыхстроек, которые при закладке первого камня объявлялись самыми крупными в мире, но так никогда и не завершались, мирные времена, когда он созывал министров на совет прямо во время сиесты в особняке в предместье, лежал в гамаке и обмахивался шляпой под сладостными купами тамариндов, жмурился, слушая грамотеев с хорошо подвешенными языками и напомаженными усами, они сидели вокруг гамака, обсуждали текущие дела, выцветая от жары в своих суконных сюртуках и целлулоидных воротничках, все эти гражданские министры, которых он терпеть не мог, но вновь назначил удобства ради, чтобы они обсуждали государственные дела под гвалт петухов, гонявшихся за курами во дворе, вечное пение цикад и бессонный граммофон, выводивший где-то по соседству, Сусана, приди, Сусана<sup>17</sup>, и вдруг они разом умолкали, тихо, генерал уснул, но он, не открывая глаз и не переставая храпеть, рычал, да не сплю я, обалдуи, продолжайте, и они продолжали, пока он не выпутывался на ощупь из паутины сиесты и не припечатывал: все это бред собачий, прав один только мой кум министр здравоохранения, хрен ли, конечно, и совет кончался; с личными помощниками он разговаривал на ходу, пока ел, бродя туда-сюда с тарелкой и ложкой в руках, потом провожал до лестницы и на прощание равнодушно бросал, делайте, как знаете, в конечном итоге все равно я тут

---

<sup>17</sup> *Сусана, приди, Сусана...* – популярная песня, наиболее известная в исполнении аргентинско-мексиканской актрисы Либерад Ламарк (1908–2000).

командую, хрен ли, тщеславное желание знать, любят его или не любят, прошло, хрен ли, он сам перерезал ленточки, показывался на публике в полный рост и принимал все риски власти, как никогда прежде, даже в самые спокойные времена, хрен ли, затеи вал бесконечные партии в домино с моим кумом, всю жизнь дружим, генералом Родриго де Агиларом и моим кумом министром здравоохранения, единственными людьми, которые имели с ним настолько доверительные отношения, что могли попросить об освобождении заключенного или помиловании приговоренного к смерти, и единственными, кто осмелился ходатайствовать об особой аудиенции для королевы красоты бедняков, невероятного создания родом из злосчастной клоаки, известной как квартал собачьих драк, потому что все тамошние собаки дрались почем зря вот уже много лет без единой минуты передышки, смертоносного пространства, куда не осмеливались заглядывать патрули национальной гвардии, потому что там их раздевали догола и разували, а их машины в мгновение ока разбирали на запчасти, а если на одну из улиц квартала попадал заплутавший осел, то с другого конца улицы его выносили в виде мешка с костями, там изжаривали и поедали детишек из богатых семейств, господин генерал, делали из них колбасу и продавали на рынке, вообразите себе, вот в каком месте родилась и выросла Мануэла Санчес моей гибели, хризантема из сточной канавы, чьей неправдоподобной красоте дивилась вся родина, господин генерал, и ему стало так интересно, что, если все это правда, я не только устрою ей особую аудиенцию, но и станцю с ней первый вальс, хрен ли, пусть напишут в газетах, распорядился он, бедняки обожают такие штуки. Тем не менее вечером после аудиенции, за домино, он заметил с некоторой горечью генералу Родриго де Агилару, мол, королева бедняков не стоит того, чтобы с ней танцевать, она такая же обыкновенная, как сотни других трущобных мануэл санчес, нимфа в платье с муслиновыми воланами, в позолоченной короне со стекляшками и розой в руке, охраняемая мамашей, которая трясется над ней, будто она из золота, так что он дал ей все, чего она хотела, а хотела она пустяков – электричества и водопровода для своего квартала, но твердо заявил, в последний раз имею дело с этими попрошайками, хрен ли, слова больше с бедняками не скажу, сказал он, не закончив игры, хлопнул дверью, ушел, услышал, как металлически пробило восемь, насыпал корма коровам в загонах, велел собрать коровьи лепешки, обошел и проверил весь дом и на ходу поужинал, держа на весу тарелку с тушеным мясом, фасолью, белым рисом и ломтиками зеленого банана, пересчитал караульных на постах от главных ворот до спален, все на месте, общим числом четырнадцать, увидел, как те из личной охраны, кто не на дежурстве, играют в домино у поста в первом дворе, увидел прокаженных, развалившихся среди роз, паралитиков на лестнице, пробило девять, поставил на подоконник тарелку с недоеденным ужином и обнаружил, что пробирается вслепую сквозь илистый воздух в бараках наложниц, которые спали по трое в одной постели, каждая еще и со своими недоносками, взобрался на кучу, пахнущую вчерашним рагу, отодвинул тут пару голов, там шестерку ног, тройку рук, даже не задаваясь вопросом, узнает ли он однажды, кто здесь кто, кто та, что в итоге дала ему грудь, не просыпаясь и не видя его во сне, и чей голос сонно пробормотал с соседней кровати, не напирайте так, генерал, детей напугаете, вернулся внутрь дома, проверил шпингалеты на всех двадцати трех окнах, подпалил коровьи лепешки через каждые пять метров от вестибюля до личных покоев, почуял запах дыма, вспомнил маловероятное детство, кажется, свое собственное, которое вспоминал только в тот миг, когда начинал валить дым от лепешек, и тут же забывал навсегда, пошел обратно, от спален к вестибюлю, гася повсюду свет и накрывая кусками полотна клетки со спящими птицами, которые пересчитывал – сорок восемь, снова обошел весь дом с лампой в руке, увидел себя размноженным в зеркалах, всего четырнадцать генералов, шагающих с лампой в руке, пробило десять, все в порядке, вернулся в спальню президентской охраны, потушил им свет, доброй ночи, господа, осмотрел конторы на первом этаже, приемные, нужники, за портьерами, под столами, никого не было, достал связку ключей, которые различал на ощупь, запер все конторы, поднялся на второй этаж,

осмотрел одну за другой все комнаты и закрыл на ключ, вытащил из тайника за картиной банку пчелиного меда и, как обычно, съел две ложки на сон грядущий, подумал о матери, спящей в особняке в предместье, вот она, Бендисьон Альварадо в своем мороке прощаний, пахнущем конской мятой и душицей, вот ее рука птичницы, бескровная рука раскрашивальщицы иволг, а сама она лежит на боку и похожа на покойницу, доброй вам ночи, мама, сказал он, и тебе доброй ночи, сынок, ответила Бендисьон Альварадо, спящая в особняке в предместье, повесил на крючок у порога спальни лампу, которую всегда оставлял зажженной на ночь и строго запрещал гасить, это свет на случай, если придется бежать, пробило одиннадцать, в самый последний раз осмотрел в потемках дом, уж не пробрался ли кто внутрь, полагая его спящим, он шел, а за ним тянулся пыльный след звездного шлейфа золотой шпоры, вспыхивающего в стремительных заревах, в зеленых бликах световых лопастей маяка, в промежутке между двумя вспышками он заметил прокаженного, шагавшего куда-то во сне, перерезал ему путь и отвел впотьмах обратно, не прикасаясь, освещая дорогу лампой, уложил под розовыми кустами, снова пересчитал караульных, вернулся в спальню, увидел, проходя вдоль окон, по одному одинаковому морю в каждом окне, апрельскому Карибскому морю, двадцать три раза узрел его, ни на шаг не задерживаясь, и всё оно было, как всегда в апреле, подобно золотистой топи, пробило двенадцать, с последним ударом курантов в соборе почувствовал, как скорчивается, выпуская нежный леденящий свист, его разбухшее яичко, других звуков в мире не осталось, он сам, единолично, был родиной и закрылся на три замка, три засова, три щеколды в спальне, помочился сидя в переносной нужник, выдавил тяжкие две капли, четыре капли, семь капель, рухнул на пол лицом вниз, мгновенно уснул, снов не видел и без четырех минут три проснулся, обливаясь потом, потрясенный явственным ощущением, что кто-то смотрел на него, пока он спал, кто-то, кто сумел проникнуть в комнату, не отпирая замков; кто здесь, выкрикнул он, никого, закрыл глаза, снова почувствовал, что на него смотрят, в испуге распахнул глаза и тогда увидел, вот же ж на хрен, это была Мануэла Санчес, она попала в комнату, не отперев замков, потому что могла по своей воле проходить сквозь стены, Мануэла Санчес, в недобрый час мною встреченная, в муслиновом платье и с огненной розой в руке, дыхание ее пахло лакрицей, скажи мне, что это не взаправду, что это бред, твердил он, скажи, что это не ты, что смертью повеяло не от дурмана твоего лакричного дыхания, но это была она, ее роза, ее теплое дыхание наполняло спальню, как упрямый бас, более размеренный и древний, чем одышка моря, Мануэла Санчес моей гибели, ничего не было написано про тебя в линиях моей руки, в моей кофейной гуще, даже в воде предвещавших мою смерть плошек, не забирай воздух, которым я дышу, сон, которым грежу, потемки этой комнаты, куда ни разу не входила и не войдет женщина, погаси свою розу, стонал он и все нашаривал выключатель, а находил вместо света Мануэлу Санчес моего безумия, вот же ж на хрен, зачем я нахожу тебя, если не терял, хочешь – заberi мой дом, всю родину, даже дракона на гербе, только дай мне зажечь свет, скорпион ночей моих, Мануэла Санчес моей водянки, сукина ты дочка, выкрикнул он, полагая, будто свет избавит его от наваждения, и все кричал, уберите ее, уведите с моих глаз, сбросьте с обрыва с якорем на шее, чтобы никто больше не мучился мерцанием ее розы, вопил от ужаса в коридорах, шлепал во мраке по коровьим лепешкам и в смятении недоумевал, что такого случилось в мире, что вот-вот пробьет восемь, а все в доме спят, негодяи, поднимайтесь, сволочи, кричал он, повсюду зажегся свет, в три часа ночи протрубили зорьку, во дворце, потом в крепости в порту, потом в гарнизоне Сан-Херонимо, а там и во всех военных частях страны, и началась сумятица, встрепенулось оружие, за два часа до утренней росы распустились розы, сонные наложницы вытряхивали ковры под звездами и снимали покрывала с клеток со спящими птицами и меняли полуночные цветы в вазонах на вчерашние, и целая уйма каменщиков срочно возводила стены и сбивала с толку подсолнухи, клея солнца из фольги на оконные стекла, чтобы никому не было видно, что на небе все еще стоит ночь, а в доме стоит двадцать пятое, а на море стоит апрель, и китайцы из прачечных



галдели и сгоняли с кроватей заспавшихся, чтобы унести в стирку белье, ясновидящие слепцы галдели и предсказывали любовь там, где любовью и не пахло, порочные чиновники галдели и заставляли кур за снесением понедельничных яиц, когда вчерашние яйца еще валялись в ящиках столов, и шумели недоумевающие толпы, и правительство созывало чрезвычайные советы, а вокруг дрались собаки, пока он, ослепленный внезапным днем, прокладывал себе путь сквозь ораву бесстрастных льстецов, провозглашавших его гонителем ночи, командиром времени и устройтелем света, но один военный из высшего командования решился остановить его в вестибюле, отдал честь и отпраповал, разрешите доложить, господин генерал, сейчас всего-то пять минут третьего, а другой голос поправил, пять минут четвертого ночи, господин генерал, и он закрыл лицо тыльной стороной ладони и в неистовстве и испуге взвыл так, что слышно было в целом свете: сейчас восемь, на хрен, восемь, я сказал, это приказ Бога. Бендисон Альварадо, увидев его на пороге особняка в предместье, спросила, откуда он такой явился, словно тарантулом укушенный, чего ты руку к сердцу прижимаешь, спросила она, а он молча повалился в плетеное кресло, убрал руку, но снова забылся, и мать ткнула в его сторону кисточкой для раскрашивания иволг и поинтересовалась с удивлением, уж не Сердцем ли Христовым он себя возомнил, к чему эти томные глаза и рука на груди, и он смутился и убрал руку, черт, мама, хлопнул дверью, ушел, принялся бродить по дому, спрятав непослушные руки в карманы, чтобы не прижимались, куда не следует, смотрел в окно на дождь, видел, как стекает вода по звездам из оберточной бумаги и серебристым металлическим лунам, подвешенным на окна, чтобы в три часа пополудни казалось, будто уже восемь вечера, видел оцепенелых солдат охраны во дворе, видел грустное море, дождь Мануэлы Санчес в твоём городе без нее, ужасающе пустой зал, перевернутые стулья, поставленные на столы, непоправимое одиночество первых сумерек очередного вечера очередной мимолетной субботы без нее, вот же ж на хрен, ладно бы хоть печалился о том, что уже случилось, а иначе-то совсем уж тошно, вздохнул он, устыдился своего состояния, поискал по телу, куда бы еще прижать блуждающую руку, если не к сердцу, прижал наконец к успокоившемуся от дождя разбухшему яичку, оно было такое, как обычно, той же формы, того же веса, так же болело, но от этого было еще страшнее, будто держишь на ладони собственное бьющееся сердце, и только тогда он понял, о чем толковали люди, говорившие ему в былые времена, сердце – оно же третье яйцо, господин генерал, вот же ж на хрен, он отошел от окна, начал кружить по залу для аудиенций с неизбывной тревогой, какую испытывать может только вечный президент, у которого в душе застряла рыбья кость, оказался в зале совета министров, мучительно слушал, как всегда, не вникая, поразительно скучный доклад о положении дел с налогами, и вдруг в воздухе что-то изменилось, министр финансов умолк, другие вглядывались в него сквозь трещины его брони, треснувшей от боли, и он увидел себя со стороны, как беззащитный и одинокий сидит на конце длинного орехового стола и дрожит лицом оттого, что его застукали в жалком состоянии пожизненного президента с рукой, прижатой к груди, он изжарился на ледяных углях цепких, как у ювелира, глазок моего кума министра здравоохранения, словно проникавших в самое его нутро, пока их владелец теребил цепочку золотых жилетных часов, осторожнее, сказал кто-то, уж не приступ ли это, но он уже положил затвердевшую от ярости русалочью руку на ореховую столешницу, бледность прошла, он выплюнул целую очередь смертоносно непрекаемых слов, а вы, сволочи, только и ждете приступа, продолжайте, и они продолжали, не слыша друг друга, каждый гадал, что стряслось, отчего он так бесится, шушукались, обсуждали, показывали пальцем, посмотрите, как он удручен, даже за сердце хватается, швы разошлись, шептались они, пополз слух, будто он срочно вызвал министра здравоохранения, и тот обнаружил его сидящим за ореховым столом, а правая рука окоченела, как баранья нога, и он приказал, отрежь ее, кум, униженный своим горьким положением залитого слезами президента, но министр ответил, нет, генерал, такого приказа я не выполняю, можете меня хоть расстрелять, сказал он, это вопрос справедливости, генерал,

я целиком, от пяток до макушки стою меньше, чем одна ваша рука. Этот слух и прочие слухи о его состоянии все набирали силу, пока он в коровниках разливал норму молока для казарм, видя, как в небе занимается пепельный вторник Мануэлы Санчес, повелевал выгнать прокаженных из розариев, чтобы не заражали своим зловонием розы, подобные твоей розе, разыскивал в доме уединенные уголки, где его никто не слышал, и напевал там твой первый вальс королевы, чтобы ты меня не забывала, пел он, чтобы знала, забудешь – и умрешь, пел он, погружался в трясины комнат, где жили наложницы, ища утolenия своей муки, и впервые за долгую жизнь мимолетного любовника отдавался на волю инстинктов, вникал в мельчайшие частности, срывал вздохи с губ самых кондовых бабищ, снова и снова, и в темноте они заливались изумленным смехом, и не совестно вам, генерал, в ваши-то годы, но он прекрасно знал, что его воля к сопротивлению – не более чем попытка обмануться, протянуть время, что каждый скачок его одиночества, каждый сбой его дыхания неумолимо приближает его к знойным двум часам пополудни того неотступного дня, когда он отправился Христа ради вымаливать любовь Мануэлы Санчес в помоечный дворец в твоём жестоком царстве, в твоём квартале собачьих драк, отправился в гражданском, без охраны, в наемном автомобиле, который, пофыркивая, пробрался сквозь дышащий парами прогорклого бензина, простертый в дурмане сиесты город, обогнул азиатский гомон торговых улочек, увидел огромное море Мануэлы Санчес моей гибели с одиноким альбатросом на горизонте, увидел допотопные трамваи до твоего дома и приказал заменить их на новые желтые с дымчатыми стеклами и бархатным тронem для Мануэлы Санчес, увидел пустынные купальни на берегу моря для твоих воскресных прогулок и приказал поставить там раздевалки и поднимать флажки разного цвета, означающие капризы погоды, и окружить стальной сеткой личный пляж для Мануэлы Санчес, увидел поместья с мраморными террасами и задумчивыми лугами, принадлежавшие четырнадцати семействам, которые обогатились на его благосклонности, увидел самое большое поместье с вращающимися поливалками и витражами на балконах, в котором я хочу, чтобы ты жила для меня, и поместье в мгновение ока экспроприировали, судьбы мира вершились, пока он грезил наяву на заднем сиденье дребезжащей машины, а потом закончился морской ветер, и закончился город, и в узкие щелки окошек автомобиля ворвался адский гвалт твоего квартала собачьих драк, и он увидел себя со стороны и не поверил и подумал, мать моя Бендисьон Альварадо, посмотри, где я очутился без тебя, смилуйся надо мной, но никто в толпе не узнал безутешных глаз, тонких губ, вялой руки у груди, голоса, каким говорят во сне и каким старик в белом льняном костюме и шляпе надсмотрщика, выглядывая из-за надтреснутых стекол, спрашивал, где живет Мануэла Санчес моего позора, королева бедняков, сеньора, та, что с розой, а про себя в испуге недоумевал, где же ты можешь жить в этом смертоубийстве связывающихся в узлы ошетиленных хребтов, сатанинских зенок, кровавых клыков, шлейфа затихающего воя, поджатого хвоста в этой грызне псов, раздирающих друг друга в клочья на подтопленных улицах, где лакричный аромат твоего дыхания в этом непрерывном репродукторном громе голосов, сука ты позорная, всю жизнь меня терзать будешь, орали пьяницы, когда их вышвыривали из гнусных кабаков, куда же ты запропастилась в этой бесконечной гулянке, где всё про приворотные зелья да про дурман с белой, про коровяк, про папиросный флажок, про вот такенную колбасину с дырочкой<sup>18</sup>

<sup>18</sup> *Папиросный флажок, колбасина с дырочкой* – в одном из интервью Габриэль Гарсиа Маркес поясняет, что оба выражения характерны для речи города Барранкилья на карибском побережье Колумбии, в частности, жаргона шоферов. Первое означает бумагу для сворачивания сигареты с марихуаной, второе – пенис.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.